



**ГЛАВНАЯ  
КНИГА**



Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии...

Дом на Конюшках. Старый тополь у крылечка. Калитка. Звонок. Утро начиналось с бандеролей. Он сам торопился отворить дверь.

— Россия шлет!..

В грубой оберточной бумаге, заклеенные марками, заштемпелеванные печатями — Хабаровск, Ростов, Одесса... Чаше совсем небольшие, величиною с почтовую открытку, невесомые, редко увесистые, — книги стихов ложились на старый письменный стол, очень длинный и неуклюжий, купленный в комиссионном магазине по случаю.

И сразу на карточку заносилась библиография книги и слева синим карандашом проводилась черта, что означало — книга есть, книга стоит на полке. Книга в бандероли чаще всего оказывалась новинкой, выпущенной где-нибудь в областном, краевом издательстве в текущем или в минувшем году. Это от «личных представителей» Тарасенкова — из Хабаровска, Омска, Одессы, Киева, Ленинграда! От литераторов, поэтов, библиотекарей, редакционных работников. Друзей и знакомых, зачастую и не знакомых, знакомых только по письмам...

«У нас в комиссионном книжном магазине очень много я раскопал книжек — стихов, сборников и т. д. «Альманахи цеха поэтов», «Гиперборей», «Зачарованный

странник» — альманахи, стиховые книжки имажинистов, футуристов, эго-футуристов и т. д. Но я боюсь их покупать, потому что не знаю, есть у тебя такие или нет.

Пришли список (пошире!) всего, что тебе требуется или чего у тебя нет. Список будет у меня, и я все время буду заходить в этот магазин, где у меня есть один такой человек...»

*А. Твардовский. Смоленск, 1930.*

«С присланным Вами списком книг дела обстоят следующим образом:

Сейчас я ничего не могла найти буквально созвучного ему. Но,— обождите разочаровываться, есть несколько возможностей, которые позволяют реализовать Ваш список, если не целиком, то наполовину уж конечно.

Первая возможность. В нашем единственном смоленском магазине старой книги я «собственными глазами» видела некоторые вещи, включенные в Ваш список.

Белокурый дядька,— заведующий магазином,— не дал мне их хорошо рассмотреть, потому что эти книги сданы ему на комиссию и ею не расценены. Я умолила этого, еще не обюрократившегося гражданина отложить для меня все, что имеет хоть вид стихов. Он обещал.

Вторая возможность.

Когда Твардовский вернется из командировки, он тоже проверит присланные Вами названия и, безусловно, кое-что найдет...»

«Отобрала большую кипу стихов, среди которых есть Вам нужное. Во-первых,— Белый: старое издание «Пепла» — в сером, пепельном переплете с красными буквами заглавия. «Золото в лазури» — тоже старого издания — обложка выполнена золотом и лазурью. Заведующий содрал за Белого неимоверно. Но зато христианскую цену назначил на «Стихотворения» Соловьева; на «Облака» Адамовича, на Кузмина («Вторник Мэри») и др. В общем, радуйтесь и веселитесь. Всю эту захватывающую дух (не от тяжести, нет!) кипу я беру завтра. У меня не хватало десяти рублей для окончательного овладения этим богатством...»

*М. Горелова. Смоленск, 1930.*

«Книжку Кежуна пришлем. Если не достанем — стянём... Но Вы получите на следующей неделе (до 25-го)...»

*В. Панова. Ленинград, 1955.*

«Скоро в Крыму выйдут 2 книги стихов. Они — за тобой...»

*П. Павленко. Ялта, 1948.*

«Очень глупо себя перед Вами чувствую — до сих пор ничего не смогла достать из того, что Вы просили. Ну, нигде нет этих книг — ни в библиотеке, ни у букиниста, ни у друзей. Еще не все потеряно — один пройдоха обещал мне «из-под земли вырыть...»

Р. С. Сегодня посылаю книжку Гарнакерьян «Зародную землю». Ростов и пр. Я ее выменяла в библиотеке, так что пусть Вас не смущает библиотечный штамп...»

*Г. Николаева. Горький, 1948.*

«В Ижевске, где я тоже побывал, в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре новинок русской поэзии не обнаружил, поэтому шлю киевскую новинку — книгу Кривенко...»

Вычеркивайте из Вашего списка (у нас — марочников — такой список — недостающего — называется «манколист»), так вот вычеркивайте из Вашего «манколиста» двух бесспорно украинских поэтов, пишущих на укр. языке,— Фросину Карпенко и Параську Амбросий...»

Хотя наш магазин и добыл для меня редкую книгу по Киеву, но по Вашей части (поэзия III сорта б) пока ничего не предвидится.»

*Н. Ушаков. Киев, 1954.*

«Милый друг, товарищ Тарасенков. Я уже, видите, заговорил с жалобной интонацией. Что делать — «Вы просите песен — их нет у меня»... грузинских переводов

прислали мне один-единственный экземпляр, и тот ушел... Я написал в Тифлис — но тифлисы фантастические люди и надеяться на них невозможно. Но на днях в Москву должен приехать Симон Чиковани, уж он-то привезет экземпляр с собой. Там же его стихи...»

*Н. Тихонов. Ленинград, 1948.*

«Однотомник А. А.<sup>1</sup> тебе будет, будет, будет, ради Христа — не нуди. Он вот-вот выйдет, но т. к. они издают его очень пышно, то сохнет обложка — я же тут ни при чем. Кстати, А. А. на днях сдает в наш «Сов. писатель» очень интересную книжку — «Нечет», стихи 40 — 46 гг. Они обещают ее выпустить быстро — там должно быть много нового. Пришлю, конечно. Несмотря на твой ужасный характер, я продолжаю относиться к тебе очень нежно».

*Ольга Берггольц. Ленинград, 1946.*

И так далее... И так далее... И так каждый день — письма, бандероли.

— Россия шлет!

Почтальон утверждал, что Тарасенков один дает на грузку почте как целый квартал... Добровольных и добрых помощников своих Тарасенков вербовал везде и всюду, и отнюдь не одних лишь сопричастных к литературе. В дни войны — офицеры, матросы Балтийского флота. В мирное время — все, с кем сталкивала дорога, дела, обстоятельства. Даже знакомство в Адлере с маленькой девочкой, которая боялась роз и обходила кусты, как будку с цепною собакой, послужило к тому, что на книжную полку на Конюшках встали книги стихов с Магадана! Девочка эта впервые здесь увидела розы и, конечно, укололась... Она выросла на Колыме. А в издательстве «Советская Колыма», как это выяснилось из разговора с ее отцом, вышли книги стихов, о которых Тарасенков не знал. И с Магадана стали приходить бандероли и на Магадан стали уходить бандероли! Тарасенков не оставался в долгу.

<sup>1</sup> А. Ахматова.

— Россия шлет!

Ну да, Россия слала исправно. А если вдруг «Россия не шлет» — день считался потерянным. Но таких дней почти не припомнить.

Случалось, Россия слала и не только книги стихов текущего времени, случалось, в бандероли вдруг — уникальный экземпляр какой-нибудь книги, мелькнувшей на книжном прилавке где-нибудь в Вятке, Оренбурге, в каком-нибудь Екатеринославе, лет тридцать, сорок тому назад и канувшей в Лету!.. Ветвицкий, например, раз в жизни согревшийся книгой стихов в 1915 году ко дню вербного базара в Тамбове. Сколько было экземпляров этой книги? Тираж в те годы не указывался. На благотворительном базаре в пользу раненых первой империалистической войны книгу раскупили и тут же бросили, читать стихи эти ни к чему, и книга эта никому ни к чему... Но Тарасенкову она очень к чему! Она ему крайне необходима в его библиотеку, в его коллекцию русских стихов XX века! Но между Тарасенковым — между тем временем, когда ему понадобилась книга Ветвицкого, и тем годом, когда Ветвицкий издал ее, империалистическая война, революция, гражданская война, Отечественная... Сколько уцелело этих книг? Где?.. Тарасенков случайно наткнулся на Ветвицкого Вл. на обложке какой-то купленной им старой книги, где было объявлено: «Готовится к печати книга Ветвицкого Вл. «Стихотворения». И конечно, тут же с присущей ему аккуратностью было внесено в дезидерату: «Ветвицкий Вл. «Стихотворения». Изд. Губ. Ком. Всеросс. Земск. Союза. Тамбов. 1915». И поставлен знак вопроса. Надо проверить, вышла или не вышла или только объявлена. И по книжной летописи того времени выяснил — вышла. И тогда письма к «личным представителям», у кого дубли дезидераты: «Ветвицкий Вл. «Стихотворения». Изд. Губ. Ком. Всеросс. Земск. Союза. Тамбов. 1915», просьба включить в дезидерату и при случае... И тут же на карточку:

Ветвицкий Вл.

Стихотворения.

Изд. Губ. Ком. Всеросс. Земск. Союза.

Тамбов.

1915.

И карточка опущена по алфавиту в ящик с картоте-

кой. Сколько она там простояла в ожидании синей черты — год, два, десять, двадцать... И она стоит год, два, десять. И вдруг — тощая, в несколько страничек, книжонка, длинная, как преискурант, с красным крестом на бумажной обложке, что, должно быть, обозначает — доход от продажи ее в пользу пострадавших от первой империалистической войны... Вдруг в бандероли — «Ветвицкий Вл.»... и тогда наконец синяя черта! И книга на полку. Но это еще не конец, на этом точка еще не поставлена. Еще надо вычеркнуть, не забыть, из дезидераты, из двух дезидерат — одна всегда с собой в кармане, другая для страховки в ящике письменного стола — вдруг пропадет, потеряется та, что с собой в кармане... И еще надо письма всем, у кого дубли дезидераты — Ветвицкий Вл. «Стихотворения»... Просьба вычеркнуть. Наконец найдена!

«Наконец найдена» — чаще всего им самим. В Москве в книжных букинистических лавках на Кузнецком, на ул. Горького у «Националя» (недавно этот дом снесен), в Ленинграде на Литейном, на Невском. У библиофилов, у библиоманов — двойные, тройные обмены, сложные комбинации, шахматные ходы: отдал ферзя — получил пешку, но с помощью пешки этой выиграл в конечном итоге... И деньги, конечно, деньги! А какие у критиков деньги... Но, впрочем, на книги денег все же хватало, всегда хватало, даже когда их и не было вовсе...

— Тебе Н. И. звонил...

Почему-то человека этого всегда называли сокращенно: Н. И.

— К тебе Н. И.

И сразу на лице Тарасенкова — виноватое выражение... Н. И. неслышно проскальзывает бочком в комнату, таща авоськи, набитые книгами, или докторский пузатый чемоданчик. Н. И. «частный» букинист. Тарасенков его постоянный клиент. Он сопровождает Тарасенкова при всех его переселениях и жизненных перипетиях и даже и после смерти Тарасенкова является к нему на квартиру для разведки... Н. И. говорит так деликатно, так вкрадчиво — еле слышно. Коротенький, пузатый. Старая кофта подпоясана под животом, как у бабы, или куцый пиджачишко. Сальные серые волосы — за воротник. Одутловатые щеки, как два детских резиновых мяча. Старых, заигра-

ных, надутых наспех, не до конца. Глаза — оба разные, оба ни о чем не говорят, даже при виде редкой книги, когда руки трясутся от жадности... Но это не страсть коллекционера, книга как таковая ему не интересна, он не собирает книг, не читает книг, ничего не знает о книгах. Просто по выходным данным, по первому взгляду, как цыган, увидя лошадь, определяет — стоит или не стоит. До пенсии работал коллектором и время от времени садился... Говорят, не так давно опять «пострадал» — обобрал одну старушку... У Н. И. особое чутье на старушек. Умрет старичок, тот, что всю жизнь копил книги, и Н. И. — тут как тут! У старушки — за бесценнок, оптом, а потом от себя — поштучно Тарасенкову и подобным клиентам. Н. И. и сам старичок, но, видно, он вечен... Н. И. не любит свидетелей, особенно жен. Тарасенков, Н. И. — вдвоем, один на один. Их не слышно, только двинули стулом, скрипнула дверца книжного шкафа. Н. И. удалился... И тогда Тарасенков:

— Ты знаешь, умер один старичок.

— Сколько?

— Ну что значит сколько? Зачем же так грубо? Ну хоть бы поинтересовалась...

— Царствие небесное этому старичку! Жил бы себе и жил... Так сколько же хочет Н. И? Старушка, конечно, в счет не идет.

— Ну что я могу сделать?! Я бы рад помочь старушке, но ведь от Н. И. ничего не добьешься. Он держит все в тайне. А если не возьму книги я, он отдаст их другому...

— Так все-таки сколько?

— Восемьсот...

И это явно еще преуменьшено. Тарасенков никогда сразу не решится произнести полностью сумму.

— Ты с ума сошел! Опять влезать в долги. Мы отложили триста на сберкнижку, но ты говорил: это мне на шубу... И ты сам без пальто...

— Ерунда, я вполне прохожу еще в куртке. А тебе так идет твоя старая шубка. Она тебе очень к лицу.

— Благодарю, конечно...

— Нет, правда, а как сошьют новую, еще не известно... И потом, занимать придется не так уже много, у

меня есть двести, «подкожных»... Ну, что ты так смотришь? Ну, был на радио гонорар — зажал его! Каждый порядочный мужчина должен иметь «подкожные» деньги, ну на вино там, на карты, на женщины, в конце концов!.. Даже Льву Николаевичу были нужны «подкожные»... Да. Мне недавно рассказывал букинист один, ты его не знаешь, когда он был мальчишкой лет тринадцать, он работал у старого московского букиниста на побегушках. К этому его хозяину как-то явился посыльный с запиской от Льва Николаевича, тот просил его тотчас же прийти и оценить книги. Книг была целая груда, они лежали под лестницей, их присылали со всего мира на всех языках с автографами. Лев Николаевич был смущен, говорил, что неловко, наверное, продавать их, но куда с ними деться... Букинисту они были тоже не нужны, но из уважения к Льву Николаевичу он согласился их взять и даже дал больше, чем они стоили. Лев Николаевич был очень доволен и попросил вывезти книги обязательно завтра с часу до трех и деньги вручить ему лично. Когда назавтра старый букинист и тот, кто мне это рассказывал, подъезжали на линейке к дому Толстого, они увидели удаляющуюся по улице Софью Андреевну и поняли, что Лев Николаевич хотел, чтобы вся эта операция была произведена в ее отсутствие. Они очень торопились и все-таки не успели. Выносили последние связки книг, когда в дверях появилась Софья Андреевна. Лев Николаевич тут же смываясь, исчез в комнатах... А Софья Андреевна, стуча зонтиком, напала на них: «Что здесь происходит? Кто вам позволил? Назад! Все внести в дом! И распаковать. Я еще посмотрю, что мы будем продавать и за сколько!»

— Ну, у Софьи Андреевны был характер. Она даже на Льва Николаевича могла стучать зонтиком...

— Но я-то ведь не из дома, а в дом! Ты подумай только, какая у тебя библиотека! Я уверен, что теперь уже ее можно оценить в полмиллиона! Значит, ты полумиллионерша! А когда я буду старичком, ты представляешь, сколько ты себе сможешь купить шубок!

— Боюсь, меня тогда уже не будут интересоваться шубки...

— Ну, это как сказать... И потом, тебе все-таки повезло. Муж ведь мог оказаться и пьяницей. Да? Было бы хуже! Нет, ты понимаешь, это такие редкие книги,

если их упустить, потом десятки лет не найдешь. Ты посмотри только, сколько и какие!

— Как, опять этот трамвайщик Герасимов?!

С наукой не был я сроднившись,  
Самоучкой стал писать.  
Ни одного дня в школе не учившись,  
Стал стишки я составлять...

Да у нас же есть уже две его книги!

— То часть первая издание седьмое и часть третья издание первое. А это часть первая издание третье. Тысяча девятьсот пятнадцатый год.

— О господи! Да ведь этот твой крестьянин-самоучка: «мы на службу собирались, на трамвае в парке связались...» — черносотенец! Ты погляди на его физиономию. Да и по стихам ясно — он из «Союза русского народа». Это они издавали его на свои деньги!

— Ну при чем тут «черносотенец», «Союз русского народа»? Книга издана. В книге — стихи, и, значит, книга должна стоять у меня на полке!..

— Но ведь можно же для курьеза иметь одну книгу этого трамвайщика!

— Нет, ты не понимаешь! Это — наука! Мне надо все! Все издания, все переиздания. Вся поэзия двадцатого века!

— Но какое же это имеет отношение к поэзии?!

— Ну, тогда считай, что я задался целью собрать книги всех поэтов и всех стихотворцев, которые жили и писали в нашем веке на русском языке!

— Всех?! Сколько же их всех?

— Этого никто не подсчитывал. Я пробовал прикинуть, думаю, за первую половину века, за пятьдесят лет — книг тысяч десять — двенадцать. Не волнуйся, это с теми, которые еще будут выходить...

— Двенадцать тысяч! И только стихи! А еще других сколько... Куда мы будем их ставить!..

Книги стояли, лежали в шкафах, на шкафах, на стеллажах, под стеллажами. Тонкие, как школьные тетради. Толстые. Величиною с альбом. Величиною с детскую ладошку. Квадратные, продолговатые, одна даже восьмиугольная! Кажется, только круглых книг не было. В два

ряда, в три ряда. Разобраться, где что стоит, где что лежит, невозможно. Только Тарасенков сам, хоть ночью подними, в темноте, на ощупь люблю!

— Книгам нужно жизненное пространство! — говорил он. — Восемьдесят метров! Не меньше! Восемьдесят погонных метров.

Поэзия мерилась метрами... Метр Бальмонта, полтора Блока, три Маяковского... Тарасенков ходил с линейкой и прикидывал, где бы еще приладить полку, куда бы еще втиснуть стеллаж... Но стен было четыре! И одна почти вся занята окнами. Зимой окна покрывались льдом, хотя стаканчики с серной кислотой исправно ставились в вату между рамами. С подоконников стекала вода, даже бутылки из-под шампанского, подвешенные за веревочные ушки по углам подоконников, не спали. Если ночью было лень встать — вылить воду, то к утру по полу растекались лужи. Простенки между окнами ела плесень, обои отставали. Другая стена — двухстворчатая стеклянная дверь в комнату стариков. И еще угол был срезан каминном... Это был деревянный купеческий особняк. В двадцатых годах тестя Тарасенкова получил по ордеру в этом особняке две комнаты. Ему досталось так называемое «зало» купца и гостиная с камином. Из зала был выход на парадную лестницу. Впоследствии тестя пристроил к дому тамбур, втиснул крылечко между топелем и стеной. А где был парадный ход — там сделал кухню, ванну и крохотный кабинетик. Получилась отдельная квартира. Из кабинетика люк вел в подполье — туда, где раньше была лестница, — там держали дрова, картошку. Но Тарасенков сразу нацелился на эту «жилоплощадь» — провел электричество, сделал стеллаж, разместил там филиал библиотеки. Книги под полом, книги над полом в кабинетике тестя, с пола до потолка. Стол вмонтирован в книги. И в бывшей купеческой гостиной диван, кровать в книгах. Только в большой проходной комнате стариков стены без книг.

— Это некрасиво, когда стены голые! Книги ведь, в конце концов, украшают комнату...

Тестя, может, и согласился бы, но у тещи была своя точка зрения — во-первых, книги вредно держать в комнате, где спят; во-вторых, книги пахнут! И это Тарасенков воспринимал уже почти как личную обиду... Но книги и правда пахли плесенью. В квартире было сыро. Книги

покрывались зеленым налетом, впрочем, как и мебель, обувь, одежда...

— Книгам плохо! — трагически восклицал Тарасенков.

— А нам?!

Он перетаскивал книги в подполье, где было суше, но и в подполье книгам тоже было плохо — там водились крысы. Правда, крысы к стихам относились наплева-тельно, наверное, потому, что это были главным образом тощие книжонки без переплетов... В подполье ставились крысоловки, но пугали они главным образом двуногих обитателей квартиры, когда посреди ночи вдруг раздавались выстрелы. А крысы, сожрав приманку, спокойно удалялись в норы. Тогда Тарасенков брал кочергу, которой мешали дрова в голландской печи, и, спустившись в подполье, сидел там притаившись. Ему это давалось не так уже просто — у него была привычка трясти ногой, положив ногу на ногу. Мальчишкой он был влюблен в Луначарского и не раз попадал с ним рядом в президиум. (В те годы советская литература была еще молода, и Тарасенков уже с восемнадцати лет был постоянным участником всех литературных дискуссий и диспутов.) А у Анатолия Васильевича была привычка трясти ногой, и Тарасенков стал подражать, быть может, и невольно, но так заразился, что потом всю жизнь уже не мог отделаться... Но ради книг... он даже был способен не шевелиться часами, не дрыгать ногой, не курить...

В подполье стояло старое продавленное кресло. Пауки плели паутину. Бороться с ними казалось бессмысленным — только обметешь все углы и тут же натыкаешься лбом на сухие, потрескивающие нити, как в августовском лесу... В подполье был земляной пол, пахло грибами. (Росли шампиньоны, целое семейство шампиньонов, которые с другой стороны стены на улице подрывали асфальт у бывшего парадного входа.) Потолок лежал на плечах — не выпрямишься. Двоим уже было тесно. Но все, кто бывал у Тарасенкова, прошли через это его «подполье».

Тарасенков первым прыгал в люк и протягивал руку, он забывал, что гостя могла сломать высокий каблук, а маститый гость мог не иметь спортивных навыков, да и по габаритам ему не так уж просто было протиснуться в



люк. А главное, Тарасенков всегда забывал, что гости могли набить себе шишки на голове, и вспоминал об этом тогда, когда сам стучался о балку. Но библиотека его еще перед войной была известна в кругу литераторов, книжников, и даже из Ленинки, из библиографического ее кабинета и из Книжной палаты часто обращались к Тарасенкову за справками, как и он к ним, конечно. Даже специально приезжали, чтобы de visu увидеть ту или иную книгу стихов. Естественно, среди знакомых не нашлось никого, невзирая на возраст и пол, кто бы не изъявил желания добровольно хоть раз прыгнуть в люк...

Когда в сороковом году на Конюшках впервые появилась Марина Ивановна Цветаева, она, конечно, не миновала тарасенковское подполье, и, пожалуй, никому так не пришлось по душе старое продавленное кресло, паутина и пыльные стеллажи!.. Они с Тарасенковым так долго засиживались там внизу — она в кресле, он на скамеечке — и так курили вдвоем, что из люка в кабинетик теста клубами поднимался дым. И Тарасенков вещал из подземелья, как тень отца Гамлета в озорном вахтанговском спектакле, где актеры произносили слова монолога в глиняные горшки.

Я сплету ожерелье из женщины 1,12  
На свою упоенную грудь...

— Нет, вы только послушайте, что писал Северянин об этой книге, «Лирионетты и баркаролы»: «Изнеженная жеманность — главная особенность творчества В. Баяна. Его напудренные поэмы напоминают мне прыжок, сделанный на луне: прыгнешь на вершок, а прыжок аршинный...»

Или:

Родила меня на фабрике  
Мать художником голов...

Это от лица московских парикмахеров восклицает некто Александр Макаров.

На Ходынке, что случилась,  
Масса мертвых очутилась.  
Народ жадность проявил  
И друг друга подавил...

Расейский самодур и невежда Поликарпов — владелец бакалейно-мучной лавки и лесного двора из города Одоевского...

«Пролетарий, будь бдителен — сифилис враг революции!»

Врач-венеролог разразился в Барнауле в двадцатых годах целой поэмой! Врачебная инструкция в стихах. Начинается она патетически:

На степи широкой вольной,  
Где ковыль растет,  
Где большим стадам привольно,  
Где река течет...  
Для общественного стада  
Нанялся пастух...  
Все подворно порешили  
Пастуха кормить...  
Через три недели  
У дочери Петра  
Появилась язва в горле,  
И притом одна... (!)

А кончается поэма моралью:

Если хочешь не болеть  
Этой заразой,  
Пастуха надо иметь  
С медосмотром сразу!

И пошло, и пошло... Тарасенков завелся!

— Ты бы пластинку наговорил, — шутили товарищи.  
— Это сколько же надо их наговорить! Опять карту-теку составлять...

Тогда еще не было долгоиграющих.

Тарасенков любил начинать экскурсию по своей библиотеке с подполья, где стояли книги начала века, двадцатых годов. Сборники имажинистов, футуристов. Стихи Давида Бурлюка, например, «отца российского пролетарского футуризма», как он сам объявил об этом в книге «Энтелехизм», изданной в Нью-Йорке к двадцатилетнюю футуризма в 1930 году. Книги Бурлюка в Советской России были величайшей редкостью — он был эмигрантом. Это Тарасенков в юные годы сгоряча написал ему в Америку, что собирает библиотеку русских стихов, и тот

прислал свои книги «из-за океана, от автора и издателя». И на «автобиографии», где он — толстощекий русак, нос картошкой, русский поэт, американский фермер — снят в цилиндре, с серьгой в ухе, написал: «Дорогой Ан. Тарасенков! Посылавам библиоредкость. Очень мало птиц могут именем ея похвалиться. Давид Бурлюк», «Посылавам», должно быть, как и «скудотундра», «хилоргоб», «восказбечить дух», было поэтическим его словоизобретением...

Потом в 1956 году на Николиной горе на даче у Лили Юрьевны Брик пили чай вместе с Бурлюком и его супругой. Они приезжали погостить в Россию. А через несколько лет их можно было встретить в Переделкине, но это уже после Тарасенкова, уже без него... А в те времена «связь» с Бурлюком могла дорого обойтись! Но уничтожить книги Бурлюка было свыше его сил! Книжки эти ведь и правда были «библиоредкость»...

Библиоредкость — книга, изданная за границей. Библиоредкость — книга, изданная малым тиражом. Библиоредкость — единственная книга автора. Рахлина-Румянцева, например, дважды библиоредкость — и потому, что другой книги у автора нет, и потому, что существует в мире только в сорока трех нумерованных экземплярах! В голубом сафьяновом переплете — единственная книга в собрании Тарасенкова в сафьяновом переплете с золотым обрезом. На отдельном листе факсимиле автора. Фотография личного музея автора. Фотографии лично самого автора — автор-девочка, автор-девушка, автор-жена, автор с сыном Аполлоном... Черновики, наброски, варианты — академическое издание! И в предисловии: «Она писала на различных листках, на программах концертов, на меню — словом, там, где застигла ее минута вдохновения...»

Тебя ожидаючи,  
Я пасьянс кладу,  
На гитаре песенку  
Тихо запою...

Стихи... Ну, там, где идет разговор о библиоредкостях, стихи, конечно, в счет не идут...

Библиоредкость — аноним, например: «Мой дар — книга откровений» тоже дважды библиоредкость: и потому, что единственная книга автора, и потому, что аноним.

Автор так и пишет: «Что в имене тебе моем?», но Тарасенков раскрыл имя автора — это булочник Филиппов. Известный московский купец, у него булочные были по всей Москве и ресторан на Тверской, недалеко от елисеевского магазина (гастронома № 1). Почему купец этот скрыл свое имя? Может, он боялся, что эротические стихи и обнаженные женщины, на изображение которых не поскупились иллюстраторы, — конечно, за счет автора — могут подорвать его коммерческие дела? Или, может, наоборот, он стеснялся тех своих стихов, в которых поднялся до «разоблачения» капитализма, отдав, таким образом, дань времени — книга издана в 1918 году в Москве?

А в эти дни в своих дворцах  
Тот, чьи вертелся станки,  
На средства чьи свершал монах  
Обряд у гробовой доски,  
Кому служили доктора,  
Что вскрыли обгоревший труп,—  
Тот спал до девяти утра,  
Читал роман и кушал суп.

Всякое... Всякие... И несть им числа...

Попробуй разыщи книгу Герасима Фейгина, допустим, изданную в первые годы революции!.. Секретарь Ивано-Вознесенского губкома РКСМ. Член Ивано-Вознесенского губкома РКП(б), делегат X Всероссийского съезда РКП(б). Девятнадцать лет от роду геройски погибший в ночь с 17 на 18 марта при штурме Кронштадта... Любые деньги предложи книжнику — не разыщет! Или книжнички, книги-плакаты, печатавшиеся на фронтах гражданской войны в походных типографиях, в городах, которые переходили по нескольку раз из рук в руки: красные — белые, белые — красные... Демьян Бедный — так много издававшийся в те годы, — сколько у него было этих книг! Он и сам толком не знал, где и когда напечатаны... И на книгах тех лет обязательно: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Будет еще время — и на книгах-листовках, на книгах-воззваниях как крик, как заклятие: «Смерть немецким оккупантам!..» Но это еще будет... и Тарасенков еще не знает, что он будет разыскивать книги стихов, изданные в партизанских отрядах, в осажденном Севастополе, на

Ханко, в блокадном, обезлюдившем от голода Ленинграде! И самому ему, москвичу, суждено будет помирать в Ленинграде от дистрофии — голодной болезни... Но пока еще «дистрофия», «блокада» — слова из чужого словаря, неосвоенные.

Тарасенков не успеет разыскать книгу Демьяна Бедного, которая не один десяток лет значилась в его дезидерате, изданная в 1920 году политуправлением Реввоенсовета Западного фронта, а будет уже разыскивать, будет уже значиться в его дезидерате книга «Мужество», изданная 3-м Украинским фронтом в годы Великой Отечественной войны, Великая Отечественная война еще будет...

Недавно на одном из заседаний «книжников», собирателей редкостей, любителей книг, говорилось, как о редкости из редкостей, о книге Всеволода Саблина «Мстители». Стихи и песни. Конечно, на обложке: «Смерть немецким оккупантам!» И трое партизан с автоматами. Маленькая книжечка в двадцать три странички, отпечатанная на газетной бумаге. Издание Руденского подпольного РК КП(б)Б 1944 год. Всего сорок экземпляров!.. Наборщики, опоясавшись шрифтами, как пулеметными лентами, и не допечатав — в бой... А потом снова, примостившись где-нибудь на пнях под елками — и елка нарисована на обложке, — печатали партизанскую газету, листовки и эту книжку — «Мстители».

У Тарасенкова на полке она стоит... Великая Отечественная война уже была. И книга Есенина, изданная в оккупированной немцами Одессе в 1942 году, тоже стоит.

Но пока... Пока был еще только сороковой. Пока Тарасенков разыскивал и никак не мог разыскать книгу Есенина «Песнь о великом походе». От октября год девятый. МСМХХVI. Зачетная работа Николая Лапина, студента IV курса полиграфического факультета ВХУТЕМАСа. В пятидесяти экземплярах отпечатанная! Сколько лет ушло на ее поиски. И раз даже почти в руках — у Данина оказалась.

— Кто-то из вхутемасовцев дал. Лежит в ломберном столе...

— Что же ты молчал до сих пор?

— Да к слову не пришлось. Я был уверен, что она у тебя есть.

И немедля — на Фурманский и в ломберный стол... И даже побледнел от огорчения! Экземпляр был порченный, страница вырвана. Теперь из пятидесяти возможных только сорок девять! Точнее, сорок семь: один из пятидесяти — обязательный экземпляр в Книжной палате, один — в Ленинской библиотеке.

Нашел все-таки? Нашел... Найти-то в общем рано или поздно найдешь, так он считал. Тут только терпение... Главное, знать, что есть. Чтобы книга значилась в дезидерате. А вот как узнать! В России такое количество было частных издательств, чуть ли не во всех городах. Сколько книг издавалось на средства авторов. Сколько книг, которые не вошли ни в какие книжные летописи, каталоги. Их невозможно было все учесть. И потом эти вечные цензурные соображения. Библиография в России никогда не везло... Тарасенков просматривал все книжные летописи, каталоги в Ленинской библиотеке, в Книжной палате, в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Списывал в дезидерату названия книг и выходные данные с рекламных объявлений из старых газет и журналов. Проверял, сверял. Рылся в частных коллекциях...

У самой площади Восстания в одном из предпоследних домов по улице Герцена жил профессор Иван Никанорович Розанов. Окна его квартиры выходили на улицу. Тарасенков каждый день проходил мимо, когда шел утром в редакцию журнала «Знамя» или торопился на трамвайную остановку. Заметив его в окно, Иван Никанорович окликал. И Тарасенков, остановившись на минуту, мог целый час простоять под окном. Зажав коленями портфель, он листал дезидерату и читал Ивану Никаноровичу свои последние записи, а тот, положив на подоконник подушку и перегнувшись вниз, в свою очередь кричал ему что-то о книгах. Мимо звенели трамваи, с грохотом неслись, гудя, грузовики. В то время еще не были отменены звуковые сигналы...

Конечно, было бы проще забежать в дом к Ивану Никаноровичу, но Тарасенков торопился и провожал взглядом каждый проходивший мимо трамвай, но, начав говорить о книгах, он не мог остановиться. И вдруг, взглянув на часы, кидался к трамваю и, вскочив на под-

ножку, еще что-то кричал Ивану Никаноровичу, а тот, приставив ладонь к уху, пытался его расслышать. Иван Никанорович тогда уже был очень стар. Он пережил Тарасенкова на три года и умер в 1959 году восьмидесяти пяти лет от роду. За свою жизнь он успел собрать удивительную и уникальную библиотеку поэзии XVIII и XIX веков. У него были прижизненные издания Тредиаковского, Ломоносова, Пушкина, книги всех великих и малых поэтов того времени...

И Тарасенков, приходя к нему, говорил:

— Вот если бы обе наши библиотеки поставить рядом! Какая бы это была сокровищница русской поэзии!..

Иван Никанорович собирал и стихи поэтов XX века, и у них с Тарасенковым шел постоянный обмен. И если Ивану Никаноровичу удавалось заполучить книгу, которой не было у Тарасенкова, он ставил пометку на картотке в своей картотеке — «нет у Ан. Т.».

И все же, как тщательно ни заполнял Тарасенков свою дезидерату, как тщательно ни вел розыски и как ни казалось ему, что все уже известно, а случалось:

— Послушай, Толя, у тебя есть Окушко?

Как-то вечером уже поздно звонок.

— Окушко?! По-моему, такого вообще нет. Сейчас посмотрю... Нет, в дезидерате не значится и в картотеке нет. Ты что-нибудь путаешь.

— Да я держу в руках. Чистила шкаф и наткнулась. Стефан Окушко. «Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы»... «Самая короткая и самая длинная сказка». Это заглавие. «Приди... Я тоскую...» — вся сказка. И иллюстрации Пейча. Или «Самая маленькая и самая великая сказка». «Люблю... люблю... люблю... люблю...» И все.

— Что ты меня разыгрываешь?!

— Да не разыгрываю я тебя! «Уничтожить ненужную бутафорию слов» — это девиз автора. Он сам пишет в предисловии: «Эти творения принадлежат к новому виду поэзии, мною рожденному и названному — согласно формы и происхождения — словографикой...»

— Я еду!

— Куда ты едешь?! Уже поздно! Я собиралась завтра к тебе вечером.

— Нет. Нет. Я приседу сейчас сам, не ложись.

И на ночь глядя, с температурой, в гриппу, за этой «словографикой».

— У меня нет температуры! Я давно уже заметил — градусник врет. И потом все равно, когда грипп, полезли свежий воздух. Я за час туда и обратно.

— Но ведь Женя у нас завтра будет!

— Ну как я могу ждать до завтра?! Этой книжки нет в дезидерате! Ты понимаешь, я даже не знал о существовании этого Окушко, «Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы»!

— Но если ты не знал всю жизнь, то до завтра потерпеть можно.

— Нет. Женя может передумать...

— Нужен ей твой Окушко! Она тебе «Конец Казановы» уступила!..

Евгения Александровна Таратута — автор книги о Войнич — как-то купила у букиниста «Конец Казановы» Цветаевой. У нее у самой не было, но она отдала Тарасенкову, зная его страсть к собиранию книг. А когда потом раздобыла экземпляр для себя, то он оказался без последней страницы, и она попросила книгу Тарасенкова, чтобы перепечатать эту страницу.

— Нет, я сам. Сам перепечатаю, вклею и переплету. Привези свой экземпляр.

— Ты мне что, не доверяешь?

— Нет, доверяю. Но я лучше тебе перепечатаю... И потом, книга любит свою полку...

«Книга любит свою полку...» В 1955 году из Сибири вернулась в Москву дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна — Аля Эфрон, она увидела у Тарасенкова на полке книгу матери «Царь-Девница», купленную им у букиниста уже после войны. По переплету, по шифру на переплете она узнала книгу. Эта книга принадлежала матери, была из личной ее библиотеки... Тарасенкову пришлось даже схватиться за валидол, у него было уже несколько инфарктов.

— Но я ни в коей мере не претендую на эту книгу, — сказала Аля. — Я знаю, что это значит для вас...

— Я должен был ей отдать? Да?

Это уже когда она ушла.

— Да.  
— Но я не могу... Неужели остался осадок? Я ее так люблю, так хорошо к ней отношусь. Я готов для нее сделать все, что угодно, только не это! Неужели она не поняла...

(Поняла... Потом всем, чем могла, всем, что сумела разыскать цветаевского, делилась с Тарасенковым.)

— Даже, если хочешь знать, я не имею права отдать книгу с полки. Да, уже не имею права...

Книга с полки никогда, никому. Книга только на полку... Л. Б. «Декабрьские дни» — на полку. Книга Л. Б. была уничтожена царской цензурой. И конечно, ни в какие книжные летописи и справочники не включена! Напечатана, видно, сразу после разгрома декабрьского восстания 1905 года. Издана подпольно. Не указан ни год, ни город, ни типография, никаких выходных данных. На обложке — смерть в сводчатых казематах... И гневные стихи о предательстве, о царских жандармах. Кто автор? Кто скрывается под инициалами Л. Б.? Тарасенкову мало, что книга — редчайшая, книга на полку. Ему надо еще обязательно расшифровать аноним... Он пытается навести справки — тщетно. Нигде никаких сведений. Потом, значительно позже уже, он приобрел книгу Любови Белкиной «Лесная лилия». 1910 год. В книгу вклеен зелененький талончик: «Определением Московского Окружного Суда от 7 мая с. г. снят арест с книги «Лесная лилия» Любови Белкиной. Книгоиздательство «Икар»... Оказывается, по суду арест с книги снят. Но почему книга была арестована? Почему на книгу был наложен арест? В книге нет стихов, которые способны были раздражить цензора. Подражательные стихи о любви, о природе, грусть о тех, кого уже нет на свете... Десятки подобных книг выходили без ареста, а тут — арест! Суд, видимо, просмотрев все стихи на свет и в лупу — сверху и вниз (как бы не было акростиха!), снизу вверх, слева направо, справа налево — и не усмотрев ничего, что могло бы поколебать трон, вынужден был вынести книге оправдательный приговор. Но, может, дело в авторе, не в стихах, может, автор сам принимал участие в восстании 1905 года? Или ранее писал недозволенное... Тарасенков ставит книгу Любови Белкиной на полку. Книга встает рядом с Л. Б. «Декабрьские дни»... А может?!.. «Декабрь-

ские дни» — «Лесная лилия». Л. Б. — Любовь Белкина... Тогда было бы все ясно! Но какие доказательства? Стихи! Но стихи такие подражательные. По таким стихам невозможно определить авторство... А спустя много лет обнаружена еще книга Л. Белкиной, поэма о лейтенанте Шмидте, «красном адмирале!» Казань. 1907 год.

«Ранним утром, — год тому назад, — на острове Березани царские опричники совершили кровавое дело: наемные палачи и убийцы — они надеялись пулями заставить умолкнуть славного борца...» Конечно, тираж конфискован! Конечно, теперь ясно, когда в 1910 году вышла «Лесная лилия», то, не глядя в книгу, не читая стихи, — сразу на книгу арест! По списку — Любовь Белкина, та самая... Ну, а Л. Б. «Декабрьские дни»? Теперь у Тарасенкова нет сомнения. Л. Б. — это Любовь Белкина. И все же еще ничего не доказано... Казань. 1907... Может быть, можно узнать в Казани... Узнал: после революции жила в Туле. В Туле — да, жила. Но выехала в Москву. В Москве — да, жила. Но умерла... Тогда по адресам в Казани, в Москве — может, кто из родственников откликнется, жив?! Откликнулся сын... Л. Б. действительно оказалась Любовью Белкиной!

Розыски... Бесконечные розыски живых и мертвых по всей стране. Наверное, и за пределами бы страны, если бы не пресловутый «железный занавес»...

«Глубокоуважаемый Анатолий Кузьмич! Ваше письмо совершило большой рейс через Куйбышев (откуда я выехал год назад) и опять через Москву, но все же на днях дошло до меня. Отвечаю на Ваши вопросы. Действительно в ранней молодости я писал стихи, притом ужасно плохие, мне просто стыдно за них. Я был тогда активным комсомольцем, вернее одним из организаторов комсомола в Воронеж. губернии, а с ноября 1919 года ревком, где я работал во время мамонтовщины, назначил меня ответ. редактором уездной газеты «Пахарь» в Задонске, в двух часах езды от Воронежа. В Воронеже тогда выходил лит. журнал «Сирена» под редакцией известного акмеиста В. Нарбута, а при губернской газете, которую редактировал В. М. Бахметьев, а затем А. В. Шестаков, создалась группа молодых литераторов, стихи писали все и как кому на душу ляжет. Писал маститый А. В. Шестаков, писал мой друг Андрей Платонов, Б. Де-

ритский, Н. Задонский; в 1920 году, ввиду того, что в «Сирене» нас не печатали и вообще третировали, мы создали свой тонкий лит. журнал «Красный луч», он выходил под моей редакцией, активно работал у меня Андрей Платонов и Б. Деритский, последний находился под явным влиянием имажинистов. Вместе с ним мы издали в 1921 году первую книжку стихов. Это была узенькая, в синей обложке, книжица. Называлась так: Б. Деритский и Н. Задонский. «Синяки под глазами». Стихи. Воронеж, 1921 г. Кто был издателем — не помню, но обложку недавно видел (у воронеж. старожила!), тираж тогда не указывали, но, вероятно, издали 100 или 200 экз. А в 1923 году я выпустил вторую книжку один. Она называлась: Н. Задонский. «Стихи сердца». Но более ничего не помню. Книжки эти у меня в архиве хранились, а затем в 1942 г. квартира моя и все архивы были уничтожены фашистской бомбой, погибли. «Бубенцы» — это третья книжка, верно. И больше я никаких стихов никогда уже не писал...»

*Н. Задонский. Воронеж.*

«С удовольствием выполняю Вашу просьбу. Среди прочих «грехов молодости» в моем скромном литературном наследии действительно значится книжечка стихов «Девушка в розовом».

Вот точные данные о ней:

Борис Корнеев. Девушка в розовом. Издательство «Фантастический кабачок». Тифлис, 1918, стр. 16. Тираж 500 экз.»

*Б. Корнеев. Тбилиси.*

«К сожалению, все мои книги безвозвратно утеряны. До войны я жил в Сталино. И после того, как уехал в армию, дом, где я жил, сгорел. Случайно у меня есть два экземпляра книги «Подруга». Посылаю Вам тот экземпляр, который сохранился лучше.

Я много лет знаю Вас. И мне очень приятно внести этот более чем скромный вклад в Вашу замечательную коллекцию».

*А. Фарбер. Ростов-на-Дону.*

«Многоуважаемый Анатолий Кузьмич! Я был очень приятно удивлен, когда получил Ваше письмецо.

Отвечаю сразу. Вашу просьбу я исполню. Книжечки привезу сам, т. к. в почту не верю. Многое отсюда посланное пропало вдребезги... За Вашу страсть по собиранию книг русских поэтов — аплодирую! Из моих книг, Вами названных, одна — «Колхозное утро». Такой нет. Есть книжечка «Колхозная честь». О ней, вероятно, и речь. Привезу...

Станция Сылва, Пермской ж. д., село Троица. Этот адрес самый верный. Я тут столь известен, что множество (из почитателей) адресуют просто:

«Урал. В. В. Каменскому».

И даже в дни войны...

Вот письмо с обратным адресом — полевая почта 16726 Б.

«Дорогой товарищ Тарасенков!

Мне переслали Ваше письмо. Даже от того места, куда Вы мне писали, я теперь далеко. Обрадовался Вашему посланию очень. Мне за четыре года войны не так часто передавали привет сердечный и просили подробнее написать о себе. Самое главное — живу, пишу. Все эти годы — на фронте. Потерял много друзей, в том числе Юру Севрука<sup>1</sup>, которого Вы хорошо знали. С ним я вместе работал в газете 3-го Прибалтийского фронта. Уже полгода прошло, как я Юру в последний раз, уже мертвого, поцеловал.

Что еще написать о себе? Сейчас я в Восточной Пруссии, на Земландском полуострове. Уже войска ворвались в Кёнигсберг. Завтра на рассвете еду в Кёнигсберг. Борьба будет очень упорной. Мы заняли только несколько кварталов. Вы нам салютовать будете дней через 10—15 — не ранее.

Кроме «Моей земли» (как Вы о ней узнали?) — плохонькой книжицы, которая делалась без меня, в Ярославле, — вышла на фронте, непосредственно в дивизии

<sup>1</sup> Ю. Севрук — критик, работавший до войны в журнале «Знамя» вместе с Тарасенковым.

однотысячным тиражом (на правах рукописи) — «Фронтальная весна».

У меня есть только три экземпляра: «Берег», «Моя земля» и «Фронтальная весна». Шлю Вам «Весну». В ней стихи страшно спешные, газетные. Пожалуйста, никому не показывайте! Ну, а с последним Берегом, тем более с Землей, кому захочется расстаться! Но рано или поздно я Вам «Берег» доставлю...»

*М. Лисянский.*

Письма... Книги... «Ваша коллекция заставляет каждого поэта задуматься и помочь Вам...» — писал из Вильнюса Теофилис Тильвитис. Да, конечно, если бы не эта помощь, если бы не живой отклик всюду и всех, к кому бы ни обратился Тарасенков, ему бы, наверное, не собрать своей библиотеки. А без библиотеки — не создать бы библиографический указатель «Русские поэты XX века»... Случалось, годами ищет книгу. Значится в дезидерате, но нет ее, чтобы увидеть, ни в Книжной палате, ни в Ленинской библиотеке, ни в Ленинграде в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. И переписывает из дезидерата в дезидерату, во все дезидераты. И вдруг — книга! Нашел, но...

Так было во Львове в 1946. Он ездил туда читать лекции о советской поэзии, о Маяковском. Еще была послевоенная разруха. Львов — голодный, настороженный... Аудитория недоверчивая. Слова падают, как в вату. По окончании лекции вежливые хлопки. Вопросов никаких... На улицах фонари не горят. В гостинице отопление не действует. Единственная возможность согреться — горячая ванна по горло. После одиннадцати на улицу выходить нельзя. Предупредили: если Тарасенков не вернется с лекции к назначенному часу — немедленно звонить оперативному дежурному в МВД. Уходя, оставлять друг друга адреса, куда пошел, на сколько... В городе действуют бандеровцы... Как-то задержались у Ярослава Галана. Он пошел провожать, сунув в карман револьвер. На пустынной улице — вечером все улицы пустыны — фигура наперерез из подворотни — где такая-то улица? Галан, наставив револьвер: «В противоположном конце города. Вам обратно идти...» Фигура метнулась и исчезла в подворотне. И на другой стороне

улицы скользнула тень... С нами еще был приятель Галана в военном, тоже при оружии. «А вы еще не верили...» Перед отъездом Тарасенков собирался с Галаном к одному бывшему издателю. Но на Галана был наложен «домашний арест». Был пойман какой-то бандит, и он проговорился, что их несколько человек — посланы уничтожить Галана. Задание шло чуть ли ни из самого Ватикана...<sup>1</sup> И пока не будет выловлена вся банда, Галану запретили выходить из дома.

— Я пойду с тобой к этому издателю.

— Ни в коем случае, это неудобно... Я не Галан, я не пишу против Ватикана...

— Но ты «москаль».

— Ну, ерунда! Я закруглюсь с лекцией, а это по дороге в гостиницу. Буду в одиннадцать ноль-ноль. Я тебе оставлю адрес. Сиди в ванне — читай. Я пунктуален, ты знаешь!

Одиннадцать ноль-ноль... Одиннадцать две... Одиннадцать пять... Одиннадцать десять... Шаги. Кто-то бежит по коридору, это когда уже трубка снята.

— Еще не успела позвонить?! Очень хорошо... Понимаешь, оказалась проза!..

— ??..

— Ну, в дезидерате двадцать лет значилась книга стихов, издана во Львове в тринадцатом году, двадцать пять экземпляров! А когда взял в руки — проза!..

А случалось и так. Ищет книгу — все есть: название, автор, город, год... но нет книги! Не вышла, не была напечатана, только объявлена... Случались и такие курьезы: долгое время Тарасенкова занимало, кто такая Татьяна Вечерка? «Вечерка» — явно псевдоним, но кто она, откуда? Он не мог найти никаких связей. Никто не знал ее. А ему надо было выяснить, выходила ли у нее книга стихов в 1919 году «Беспомощная нежность»? Нигде он не мог обнаружить этой книги, но знал, что книга готовилась к печати...

— Послушай, Круч.— обратился он как-то к поэту Крученых, который зашел к нему.— Я все забываю у тебя спросить, не знал ли ты такую Татьяну Вечерку? Она

<sup>1</sup> Несколько лет спустя Ярослав Галан был зверски убит у себя на квартире националистами, и это действительно, как выяснилось на суде, было задание Ватикана.

тебе еще стихи посвящала. У нее были две книги — «Соблазн афиш» и «Магнолии». Тысяча девятьсот восемнадцатый. Тифлис. Издательство Кольчуга. Я даже пробовал навести сведения о ней в Тифлисе... Что ты смеешься?!

Крученых зашелся от смеха и топал обеими ногами по полу.

— Что ты бьешь, как конь копытом?! Что тут смешного?

— Он ее в Тифлисе разыскивает... А она... Да ты каждый день с ней в лифте встречаешься! Она под тобой живет! Это теща Либединского... — Тарасенков тогда жил уже на Лаврушинском, в доме писателей.

А раз было так: спросил у Павла Шубина на ходу в трамвае — у всех живых поэтов сверял библиографию, вдруг пропустил, вдруг не знает о какой-нибудь книге.

— Правильно у меня записаны твои книги?

— Правильно.

— Ничего не пропустил?

— Пропустил...

— Что пропустил? Не может быть!

— Пропустил, говорю. В Пензе была книга в тридцать девятом. «Лесное эхо»...

— Ты мне дашь?

— У самого ни одного экземпляра...

И спустя года полтора:

— Слушай, Пашка, а может, я не так записал или ты что спутал. Твоей пензенской книжки нет в природе. Я писал даже в Пензу в издательство, мне ответили — никогда такой книжки «Лесное эхо» не выпускали...

— Какое «Лесное эхо»? При чем тут Пенза?

— Ну, помнишь, ты мне в трамвае сказал, что у тебя выходила книга в Пензе, — у меня она не значилась в дезидерате.

— Так я ж тебя разыграл!..

Потом не раз добывал для Тарасенкова редкие книги. Даже в дни войны.

— Это тебе за розыгрыш с Пензой.

И Гумилев, изданный в Шанхае, — редчайшая книга — на полку в старом доме под тополем на Конюшках... Но началась библиотека не с Конюшков. Еще в 1927 году она пропутешествовала в чемоданчике на Таганку, где жили коммунальной трое начинающих литераторов в возрасте

от восемнадцати до двадцати лет. Потом библиотека переехала на Сивцев-Вражек. С Сивцева-Вражка в Сокольники. Из Сокольников в Гранатный переулок у Никитских ворот. Потом Пятницкая — где он снимал какую-то «полуконнату» в набитой жильцами квартире... Библиотека путешествовала на трамвае; на извозчиках по булыжной еще мостовой; в «рено» — ходили в то время по Москве такие черные колымаги с мотором. В «эмке» — первых отечественных такси типа кареты с высоким верхом... В такой вот «эмке», набитой книгами, как контейнер, и прибыла библиотека с Пятницкой на Конюшки. И за время своего «конюшковского стояния» выросла более чем вдвое... Особенно «прирост» этот падает на послевоенные годы. Когда из букинистических лавок не единичные книги, а целые связки книг привозились на «Москвичках» и «Победах» на Конюшки...

Конюшки — горбатые, кривоколенные, крытые булыжником. Вверх и вниз... Вниз к зоопарку. Вверх на площадь Восстания. И на углу, на стыке двух булыжных потоков, дом под тополем. Зимой тополь звенит над крылечком оледеневшими ветками. Летом накрывает тенью всю улицу вширь. А в пору тополиного цветения метет такой тополиной метелицей, что окон не открыть. И осенью еще — возьмешь книгу с полки, а за книгой серый клубок!.. Дом под тополем, купеческий особняк: пять окон на улицу, шесть окон во двор. В пятом на улицу — шофер Густов, водитель грузовика, и жена его Ксюшка. Гремит на общей кухне кастрюлями, кричит на старух: «Построим социализм, завяса буду в крепдешинах ходить!..» А по субботам под гармонь выстукивает каблуками: «Ээ-эх!» И тарасенковские книги падают с полок. В окнах во двор древние старухи. Самая древняя — владелица дома, бывшая купчиха... По странной иронии судьбы тесть Тарасенкова получил ордер на две комнаты в доме своего однофамильца, богатого московского купца-гробовщика, который держал похоронное заведение на Садово-Кудринской. И в пору, когда все было по карточкам, тестя лишили карточек, делали его «лишенцем», по доносу дворника, который утверждал, что он и есть тот купец-гробовщик! И каждый раз приходилось доказывать, что он не купец-гробовщик! А купец-гробовщик давно уже умер, и это его мать дождала чуть не до самой войны и общалась уже исключительно с се-



рафимами, ей было за девяносто. Серафимы слетали с ней с кюта, и она гнала их: «кыш...», как цыплят. И еще Николай Угодник заходил к ней. Крохотная, скрюченная, в белом щепце. «Да-с... — сообщала она доверительно, — заходил...» — «Не богохульствуйте! Грех богохульствовать!» — топала на нее ногами купеческая приживалка, кривобокая, кривошеенная, убогая Саша. Христова невеста — лет под семьдесят. «Бог вас накажет! Как это мог к вам Николай Угодник приходиться?!» — «К тебе не приходил, — ехидничала старуха, — а ко мне приходил! Чай вместе пили...»

А мимо дома под тополем, обтекая его с двух сторон, по булыжникам — весенний разлив. И в мае еще без калаш не пройти! Это с конюшковских дворишек из подворотен, из-под калиток, защеколденных щеколдами, растаявший снег. Конюшковские дворики летом в лопухах, подорожниках, траву коси! И на мостовой между булыжниками тоже трава... А зимой над Конюшками, над крышами — розовые дымные хвосты, как в деревне. Конюшки топились дровами — голландские печи, существующие печи — столько дров! А по талонам дров хватало до половины зимы. И конюшковцы еще с осени караулили, когда на Девятинский переулочок на склады поянутся подводы с дровами, грузовики. И, переманивая друг у друга, заворачивали подводу или грузовик «налево» во двор. И потом пилили дрова, кололи дрова и штабелями в сараи и на сараи тяжелые, как гири, замки...

А напротив дома, что под тополем, чугунная колонка, которая зимой покрывалась наледью, как стеклянными колаком. И чтобы набрать ведро воды, надо было ломом сколачивать лед...

Когда это было? Да не так уж давно. Тарасенков только в 1950 году съехал с Конюшков... А когда ставились кинокартины о 1905 годе, съемка всегда велась здесь, на Конюшках. И тогда по Конюшкам несли полицмейстер на пролетке, обязательно при усах, бороде. И курьезчики мели подолами булыжники. И рабочие с Красной Пресни под красным знаменем пели «Вихри враждебные»... Киношникам приходилось привозить с собой из реквизита разве только газовый фонарь и ставить его перед домом под тополем. Дом стоял на углу Большого и Малого Конюшковского. Он и теперь там

стоит, где стоял, только теперь он оказался у подножия небоскреба, того, что на площади Восстания...

Быть может, сейчас тем, кто там «зався» топчет мраморные ступени и каждый день проходит в лифты сквозь золоченые решетчатые двери, как сквозь врата алтаря, может, тем, с заоблачной их высоты, с двадцатого этажа, из квартир, забытых чешскими и венскими гарнитурами, этот старенький особнячок на Конюшках кажется таким убогим и жалким... Но почему-то нигде и никогда так потом не слушались стихи, как именно здесь, в этом доме под тополем.

Поет о том, что мы живем,  
Что мы умрем, что день за днем  
Идут года, текут века —  
Вот как река, как облака.  
Поет о том, что все обман,  
Что лишь на миг судьбою дан  
И отчий дом, и милый друг...

И особенно хорошо было слушать стихи, когда в печи или в камине трещали дрова и отсвет огня падал на открытые морозными узорами, пушистые от инея окна...

«Я рад, что у тебя такой дом с душой и настроением, с таким деревом над ним, в таком живописном и исторически славном переулке...» — писал Тарасенкову Борис Леонидович Пастернак.

«Душой» дома конечно же были книги, стихи... Подполье — все эти километры рифмованных строк, сотни, тысячи книг — все это только преамбула, вступление, так сказать, к стихам... Мандельштам, Ходасевич, Пастернак, Цветаева, Бунин, Блок, Ахматова, Маяковский, Есенин... Но это еще те годы, когда Есенин почти не переиздавался, замалчивался. Ахматова не печаталась. Бунин — еще не известно было широкому читателю, что есть такой замечательный писатель. Радость этой встречи еще впереди... Бунин еще не вернулся на родину, вернее, книги его еще не вернулись. Цветаева вернулась, но стихи ее не появляются в печати. Она никому еще не ведома, только небольшой круг литераторов, да и то только любители поэзии, знают ее... «Мои стихи, как драгоценным вином, настанет свой черед...»

Черед настанет еще многому. Еще встанут на полку в старом доме на Конюшках две книги Анны Андреевны Ахматовой, изданные в 1946 году, — библиоредкость! Да-

же у самой Ахматовой их не будет! Стихотворения, вошедшие в эти книги (одна — Огиз, Гослитиздат, другая — приложение к «Огоньку», издательство «Правда»), печатались все в газетах и журналах до того времени и после того, в «Беге времени», например. Но, должно быть, вся суть и есть в этом беге времени... В некрологе спустя двадцать лет мы прочли, — «она создавала мужественные произведения во славу Родины... поэзия ее вводила человека в мир прекрасного и облагораживала его чувства...».

Но я предупреждаю вас,  
Что я живу в последний раз...

Кто-то сказал — в России писателю надо жить долго! Ахматовой повезло. Она жила долго, и когда в 1966 году, старую и немощную, ее увозили в больницу с очередным инфарктом, в этот день в магазинах стояли в очереди за ее книгой «Бег времени». И она это знала...<sup>1</sup>

Но это еще будет... Будет, между прочим, и такое — встанет на полку как библиоредкость и книга Уткина. Кто бы мог подумать — Уткин! В шестнадцать лет он принимает участие в революционном подполье, а в 1920 году, будучи учеником шестого класса Иркутской гимназии, уходит добровольцем сражаться против банд адмирала Колчака. В Отечественную войну, когда командир и комиссар батальона были тяжело ранены, он, специальный корреспондент фронтовой газеты, встал во весь рост под огнем и повел бойцов в атаку. Под Ельней был ранен. Потом снова на фронт. Погиб в 1944 году... А что касается стихов, то стихи его все те же, — не так уж много их было, — бесконечно переиздавались, и в том «Избранном», издательство «Советский писатель» 1948 года, — все те же! Все тот же «Рыжий Мотэле». Как был

<sup>1</sup> Тридцать экземпляров книги «Бег времени» — тоже библиоредкость. Дело в том, что художник В. Медведев, оформлявший книгу, предложил Анне Андреевне Ахматовой воспроизвести обложки ее первых изданий в начале каждого раздела сборника, которые озаглавлены были, как и ее книги, — «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник» и т. д. (К слову сказать, снимались эти обложки в библиотеке Тарасенкова.) Но Ахматова наотрез отказалась от такого оформления. Говорят, кто-то уверил ее, что так издают только посмертные издания... Тогда В. Медведев напечатал для себя тридцать таких экземпляров. Увидя их, Ахматова пожалела, что не согласилась с художником. Но было уже поздно, тираж был отпечатан.

в первый раз напечатан, более тридцати лет тому назад, так и до сих пор издается. Миллионные тиражи, наверное, уже у этого «Рыжего Мотэле»... Тогда в том же году и «Избранное» Пастернака стало библиоредкостью, и книга Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Тарасенков даже выговор схлопотал за эти книги. Он тогда работал главным редактором издательства «Советский писатель».

Годы... Годы... Но это опять, опережая бег времени... Итак, Конюшки. Дом под тополем. Горит камин. На полках книги стихов. А где книги стихов, там, конечно, и стихи!

Тарасенков держал раз пари, что он сможет двадцать четыре часа подряд читать стихи без перерыва. Наверное, смог бы. Но слушатели не выдержали. Капитулировали раньше... Дегустация стихов. Бой стихов... Один начинал, другой перехватывал, по первой строчке, по строфе угадывал, продолжал. Известные стихи известных поэтов, забытые стихи известных поэтов, известные стихи неизвестных поэтов и просто стихи просто поэтов... Угощения могло в доме и не оказаться, ну а уж стихов — досье!

— Я приду к тебе, только с условием — три стихотворения.

— Пять.

— Нет. Я сказал, три и не больше!

— Но, понимаешь, я раскопал такие стихи!..

Он мог с одинаковым пылом, а главное, с одинаковой интонацией читать и Мандельштама и какую-нибудь однодневку.

— Ты всеядное! Как тебе могут нравиться такие стихи?!

— Нет, не говори, в них что-то есть...

А когда появился Ярополк Семенов — они вместе с Тарасенковым учились, потом встречались главным образом на страницах газет и журналов, всегда в полемике, не соглашаясь, не уступая друг другу, — но раз в год, в память юности, когда Ярополк появлялся на Конюшках, — тогда ночные бдения до утра. Чай, как йод, папиросы, стихи.

Прекрасно в нас влюбленное вино  
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,  
И женщина, которою дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей  
Над холодеющими небесами,  
Где тишина и неземной покой,  
Что делать нам с бессмертными стихами?

И так до рассвета. Так до войны, так и после войны — первое ночное бдение. Еще оба в военном. Папиросы. Чай по пачке на каждого. И чтобы никто не мешал. Только кипяток греть на керосинке, на электричество еще лимит. Газа, конечно, не было... Но, должно быть, часам к трем оба еле вывалились из комнаты. Откачивали их валидолом. Не учли одной подробности — такой крепости чай и папироса за папиросой, а между последним их бдением в сорок первом и этим — война...

Что делать нам с бессмертными стихами?

Бессмертные и смертные стихи... Они входили в дом вместе с книгами. Случалось, сначала стихи — потом книги. Или сначала книги — потом стихи, поэт. Или сначала поэт — потом стихи. Тарасенков и сам писал стихи. Плохие. Сознал это, но не мог не писать. И даже издал два сборника стихов в дни войны и втиснул их на книжную полку в своем хранилище где-то между Тарариным и Твардовским.

Он нашел себя в другом. В любом деле нужен талант. Но так до конца своих дней и любил неразделенной любовью эту музу поэзии и служил ей, чем мог... Заметить никому не известного, еще молодого поэта, напечатать его стихи, написать о нем — это было величайшей для него радостью. «Вчера в клубе МГУ выступала тощая девчонка. Читала стихи о Пушкине. Здорово. Ее зовут Маргарита Алигер». Начинаящие Симонов, Смеляков. Поэты старшего поколения... Сколько он написал рецензий на книги стихов для редакций, для внутреннего пользования! Сколько напечатал рецензий и статей в газетах, в журналах. Сколько книг стихов отредактировал!

Самуил Яковлевич Маршак написал ему на своей книге:

Он —  
Великий книжный Робинзон:  
Стли, что авторы предложат,  
Проредактировать он может  
И до печати довести.  
Издать, потом переплести

И, наконец, в своем разборе  
Убить в критическом обзоре!

Разыскать книгу стихов... и не только для того, чтобы поставить на полку и на карточке, что ждет в картотеке, провести синюю черту, но и пролистать, прочитать, процензировать, если стоит, переиздать. Он мечтал издать лучшее, что есть в поэзии двадцатого века! Мандельштам. Он собирал его тексты, выверял их, готовил... Бунин — в 1945 году, как только пронесся слух, что в Париже Бунин обратился в комиссию по репатриации, Тарасенков тут же стал готовить его «Избранное». И вместе с литератором Вячеславовым работа эта была осуществлена. Но книге этой было суждено так и остаться в верстке, ибо Бунин не решил вернуться на родину... Цветаева. Сколько рукописных и перепечатанных на машинке, переплетенных им ее книг стояло на полках! С какой тщательностью собирал он ее стихи, разбросанные по страницам старых журналов и эмигрантских изданий, записывал под ее диктовку... Сколько у него было заведено подобных книг, «изданных» им самим, куда он вписывал стихи, напечатанные в периодической прессе и нигде еще не напечатанные: «книги» — Твардовского, Светлова, Пастернака, Тихонова, Асеева... Он собирал и готовил к изданию тексты и более молодых своих современников — Ярослава Смелякова, например. И эти тарасенковские рукописные «издания», стоявшие в его книгохранилище, сослужили в свое время добрую службу (правда, без него уже)... Не говоря о том, что в 1961 году, когда наконец готовилась к выпуску книга Цветаевой, спустя двадцать лет после ее гибели, редакторы издательства «Художественная литература» приезжали сверять тексты с тарасенковскими записями. Но и когда Смеляков выпускал свое избранное — он тоже обращался к записям Тарасенкова, так как весь его архив погиб...

А после войны, только вернувшись с фронта Межиров, Гудзенко, Друнина, Николаева, Орлов...

— Нет, вы послушайте: «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...»

Одни становились поэтами. Другие так и оставались авторами одного стихотворения, одной строфы, хотя книг потом было много. Одни становились известными, популярными в силу различных обстоятельств, правда, не

всегда в силу таланта. Одни становились друзьями и оставались ими до конца. Другие уходили — умирали или просто расходились... Одно оставалось неизменным — книги на полках! Их становилось все больше...

«Дар в тарасенковское хранилище Поэзий. Автор (С. Кирсанов)».

«Милый Толя,

ты — отец крестный этой книги, поэтому дарю ее тебе с особым удовольствием и со всегдашней любовью. Ольга Берггольц».

«А. К. Тарасенкову — обязательный экземпляр. А. Твардовский».

«Две тысячи сонетных строчек  
Прими, вернейший из друзей,  
Редактор, критик, переплетчик,  
В шкафу устроивший музей!»

С. М.» (С. Маршак)

«Критику, поэту, моряку, воину, путешественнику, редактору, словом, старому почетному ленинградцу — Толе Тарасенкову дружески на добрую память книгу ленинградских стихов и прозы — Николай Тихонов».

«Дорогому Толе — еще один кусок жизни автора — на память о его дружбе. Павел» (Антокольский).

«Старинному любителю стихов Тарасенкову, в его собрание поэтов.

К Анатолию Кузьмичу  
Первым в руки я прилечу:  
— Но гони меня, зол и яр,—  
Я сигнальный лишь

экземпляр!

Н. Асеев».

«Старейшему другу, соинфарктнику, собрату, соиска-  
телю Синей Птицы поэзии русской. В. Луговской».

— Россия шлет!

А в 1941-м после очередной бомбежки (Тарасенков был уже на фронте) пришел Михаил Голодный,

— Я звонил, а у вас телефон сняли... Я тут одну свою книжонку принес — «Сваи», в двадцать втором году издана в Харькове... Тарасенков все просил меня отдать ему. Ее нигде нельзя найти, а у меня единственный экземпляр, жалко было... Так ты напиши старику на фронт, Голодный, мол, решился, наконец, принес...

— Да, но я не знаю, что будет с библиотекой. Дом деревянный... Пресня горит... Одна зажигалка...

— Ну, а кто теперь что знает! Так ты напиши старику, порадууй...

На Конюшках в небольшом чемоданчике хранились и рукописи Цветаевой. У Тарасенкова в дневнике есть такая запись:

«Мы с Б. Л.<sup>1</sup> вышли из дому, он пошел проводить меня на трамвай. По дороге он мне сказал:

— Под строгим секретом я вам сообщу, что в Москве живет Марина Цветаева. Ее выпустили в СССР за то, что ее близкие искупали свои грехи в Испании, сражаясь, во Франции — работая в Народном фронте. Она приехала сюда накануне советско-германского пакта... Она и у меня была всего раз — оставила мне книгу замечательных стихов и записей. Там есть стихи, написанные во время оккупации Чехословакии Германией. Цветаева ведь жила в Чехии и прижилась там. Эти стихи такие антифашистские, что могли бы и у нас в свое время печататься. Несмотря на то, что Цветаева германофилка, она нашла мужество с гневом обратиться в этих стихах с призывом к Германии не бороться с чехами. Цветаева настоящий большой человек, она прошла страшную жизнь, полную лишений. Она терпела голод, холод, ужас, ибо в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же, белых. Она там не прижилась.

В ее записной книжке, что лежит у меня дома, — стихи, выписки из писем ко мне, к Вильдраку. Она серьезно относится к написанному ею, как к факту, как к документу. В этом совсем нет нашего литературского зазнайства...»

Запись эта была сделана 2 ноября 1939 года. А где-то в начале сорокового или в конце тридцать девятого Тарасенков познакомился с Цветаевой, и она стала бывать на Конюшках...

<sup>1</sup> Борис Леонидович Пастернак.

Горит камин. Трещат березовые поленья. В комнате темно, только огонь от камина и тени заговорщически сгрудились на потолке.

Так, до розовых уст дорваться —  
Мы порой забываем: здравствуй.  
Тех же уст покидая край —  
Кто — когда — забывал: прощай...

Сколько раз читал Тарасенков ее поэмы, ее стихи. Теперь она сама. На скамеечке перед огнем. Волосы коротко стрижены. Челка на лоб. Седая. Впрочем, от огня не седая — огневая, как и вся в сером, охваченная огненным светом... Серое суконное платье. Глухое, по горло, книзу колокол. Колокол натянула на колени. Руки вокруг колен, сцепились мертвой хваткой. А сама из кольца своих рук, из платья, из себя, от себя — туда, вперед, в огонь, в устье камина, в черное жерло трубы...

От грешного к грешной  
На лестнице спешной  
Хлеб нежности днешней...

Прочла все до конца. Замолчала. Молчим. Потом вынула папиросу из сумочки, щипцами взяла уголек.

Сама.

Закурила и снова молчание. Поленья осыпались. Огонь притих.

— «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал...» — встала, прошла по комнате. Опять села на скамеечку. — Молчать... Молчать рядом, молчать вместе — это больше, чем говорить... Как это иногда надо, чтобы кто-то рядом молчал!..

Опять встала, подошла к письменному столу, что у окон. Прислушалась.

— Капель! Вы слышите, капель в январе!..

— Марина Ивановна, это с подоконников. Бутылки перелнились...

Не слушая. Не слыша.

— Это Дед Мороз! Наперекор... — В стеклянной двери, в комнате стариков видна елка, на ней горят свечки. — Не захотел ждать, надоело каждую весну и ходить, уходить капелью! Капля по капле... до последней капли, до все, до ничего... Наперекор в январе... Я вам говорила, в вашем доме доживет свой век

последний московский домовый... А Дед Мороз — домовый кумовья!.. В таком доме нельзя без домового...

Высокие лепные потолки. По углам крылья амуров. В тех углах, что на улицу, позеленели: крыша протекает. Дубовый узорчатый паркет с прочерью. Камин. Мраморная доска над камином плитой.

— Последний городской домовый, как последний городской голова...

Однажды она принесла небольшой чемодан. Таможня долго не выдавала ей ее рукописи и книги после ее возвращения на родину. Тарасенков добывал какие-то ходатайства от Союза писателей, справки из журнала «Знамя», ходил с ней на таможню. Наконец ей выдали. Тогда она и принесла этот чемоданчик.

— Пусть хранится у вас. Я скитаюсь по чужим углам, может пропасть! Если что со мной случится — пусть лучше у вас, я вам доверяю, — это Тарасенкову. — Делайте, что сочтете нужным. Я уверена, вы лучше меня распорядитесь...

Она отщелкнула замки — там лежали фотографии, исписанные листки, тетради. Пачка писем. Потом она часто вынимала из этого чемоданчика какие-то нужные ей записи, приносила новые, складывала в чемодан.

Когда в июле 1941 года начались налеты на Москву, когда регулярно, изо дня в день, два раза в день бомбили Москву и на Пресне сгорели склады, толевый завод и каждую ночь полыхало зарево то на одной, то на другой улицах, — пришлось позвонить Марине Ивановне. Она опять жила по новому адресу в чужой квартире, но дом был каменный.

— Все равно, — сказала она, — фугаска или зажигалка! У вас или у меня... судьба!

Потом опять позвонили ей: предстояла эвакуация.

— А что с библиотекой? — спросила Марина Ивановна.

— Ничего. Останется. Дом, наверное, заколотим...

— Что ж, пусть в нем останусь и я...

И все-таки пришлось настоять.

Марина Ивановна пришла. Шагала по комнате, курила. Почти все время молчала. Прочла последнее письмо Тарасенкова с фронта. Открывала дверцы книжных шкафов — стекла, как и на окнах, были перекрещены бумажными полосами. Книг не вынимала, только паль-

цем проводила по корешкам. Бальмонт — метр, Блок — полтора, Маяковский — три метра... Цветаева — несколько тоненьких книжечек. Всего при жизни — пятнадцать. Впрочем, на полке — штук тридцать! И проза, никогда не издававшаяся отдельными книгами, и стихи, никогда не издававшиеся... Переписанные от руки, на машинке, переплетенные, ситцевые, стояли — подобие книг! И она трогала их корешки.

— Какое счастье держать в руке верстку книги! Именно верстку, — она еще — ты! Плоть от плоти, кровь от крови. Книга уже живет отдельно от тебя. У нее своя судьба, своя дорога... Ты уже ничего не можешь. Не властен...

С 1928 года книг не было, не выходили.

Все курила, ходила из угла в угол.

— Одна зажигалка — и все сгорит. Когда бы видели вы, как горела Книжная палата...

— Если уж суждено сгореть, то пусть сгорю здесь... Правда, когда сгорает книга, где-то остается другая. Всего не сожжешь. Но рукопись...

И все не решалась забрать свой архив... Потом шла по булыжной горке, по клубкам тополиного пуха, вверх, по переулку, туда, где теперь на площади Восстания стоит небоскреб. Из решетчатого оконца в тамбуре было видно: сын ее, высокий, красивый, не по возрасту большой, нес чемоданчик. Она шла рядом.

Дом на Конюшках уцелел. Кажется, только две зажигалки пробили крышу и упали на чердак. Их успели затушить. И одна угодила на крылечко, но ее схватили каминными щипцами и бросили в бочку с водой...

Даже в самые трудные военные годы, уже в пустую, заколоченную квартиру, хоть и редко, но все же приходили бандероли, и обратный адрес на них почти всегда был: полевая почта.

А в год победы, в один из майских дней, в дверь позвонил майор и передал пакет:

— Трофей из Германии.

И никак не мог понять, почему столько радости доставила какая-то маленькая книжонка с ятями и твердыми знаками этому тоже майору в морской форме, который открыл ему дверь... Бальмонт. «Песни Мстителя». Книгу эту Тарасенков нигде не мог разыскать. Даже просто поглядеть, подержать в руках ее не мог. Издан-

ная в Париже в 1907 году, в Россию она не попала. Те экземпляры, которые пытались перевезти через границу, были конфискованы и сожжены царской охранкой. Еще бы! Бальмонт обращался к царю, называя его — «Царь-Ложь» и «Николай Последний».

Он трус, он чувствует с запинкой,  
Но будет, час раслаты ждет.  
Кто начал царствовать — Ходышкой,  
Тот кончит — встав на эшафот...

Книга эта сложными путями попала на Конюшки. С комсомольских лет Тарасенков дружил с Борисом Шиперовичем или, как он называл его, Борей Шип. Редакционный работник, библиограф, любитель и знаток книги, он сам собирал редкие издания по искусству и всегда помогал Тарасенкову в его поисках. Служа в войсках Советской Армии, Шиперович попал под Бреслау в немецкий замок, где расквартировалась на отдыхе наша часть. И как-то в парке он обратил внимание на двух офицеров и военврача, которые лежали в траве и, покатываясь со смеха, читали книгу. Он заинтересовался, что они читают. «Да записки какой-то графини или княгини!..» Это оказалась книга княгини Бебутовой. На книге был штамп: «Тургеневская библиотека. Париж». Как могла попасть сюда книга из Тургеневской библиотеки?! Тургенев помогал организовывать эту библиотеку во Франции для русских эмигрантов, Герцен пополнял ее, Ленин брал книги из этой библиотеки, Плеханов, Луначарский... По газетным сообщениям было известно, что немцы вывезли эту библиотеку из Парижа. «Откуда у вас роман Бебутовой?» — «Очкарик дал, наш библиотекарь». В замке, в одной из комнат, на стеллажах, сколоченных на скорую руку, сержант-«очкарик» расставлял книги и рядом с «Библиотечкой воина» ставил Чарскую и княгиню Бебутову... «Где вы берете книги?!» Очкарик толком не мог объяснить — ему поручено организовать «дбсуг» бойцов и командиров, он и организует, а книги таскают ему солдаты из соседнего замка и из какого-то ангара. Ангар километрах в десяти, который разыскал Шиперович, был набит книгами и ящиками с книгами, и на каждом ящике — немецкий штамп: «Минск. Библиотека Академии наук». И вдруг на одном из ящиков: «Париж. Тургеневская...» Шиперович потребовал запереть ангар, поставить

охрану и доложил командованию. А по соседству с замком жила старуха, русская эмигрантка, ее муж дружил когда-то с известным издателем Гржебиным. У нее-то Шиперович и раздобыл Бальмонта для Тарасенкова, как и целый ряд других книг...

«Я просто не знаю, как мне тебя благодарить. Недавно у меня был майор Костелянец, который привез от тебя четыре чудесных подарка, а сегодня появился Миша Матусовский, который привез еще два. Я, конечно, в полном восторге и от самих подарков и от их внешнего вида, который выше похвал.

Во всяком случае, благодарность моя к тебе не знает предела, и я тебе пишу уже третье письмо за очень короткий срок...

Порадовал меня и Павел Шубин. Он вернулся на днях с Дальнего Востока и привез мне немало редкостей, о которых я мечтал.

Ты спрашиваешь о друзьях? Что ж, напишу тебе. Очень я тоскую по моему старому другу Ване Бунину. Рад был бы повидать кое-кого из более молодого поколения — например, Сою Прегель. Вообще натуры, настроенные поэтически и склонные к писанию стихов, даже самых посредственных, всегда как-то были мне близки. Впрочем, что тебе подробно писать об этом? Ты сам знаешь. Увижусь ли я когда-нибудь с Ваней и Соней? Кто же знает. Во всяком случае, мне почему-то кажется, что ты бы мог мне в этом помочь хоть слегка...»

Писал Тарасенков Шиперовичу в Германию:

«Умоляю тебя, если можешь, выясни все насчет Зиночки<sup>1</sup>. Страшно благодарен за Марину Ивановну<sup>2</sup>. Как поживает Ирочка Кнорринг?..»

— Ну уж эти эмигрантские издания!.. — говорил тесть.

— Но в них нет ничего антисоветского. Да и в письмах я не пишу про книги! Какой-то там друг Ваня Бунин. Никому и в голову не придет...

— Ну, а что ты морочишь еще голову Шипу какими-то Кнорринг и Прегель? Я понимаю, Зинаида Гиппиус —

<sup>1</sup> З. Гиппиус.

<sup>2</sup> Шиперович прислал Тарасенкову несколько прозаических произведений Цветаевой, которые вырвал из попавшихся ему в руки журналов.

старая русская поэтесса, но ведь эти-то, ты сам говоришь, дети эмигрантов, они и России не знают.

— От жадности! Хочу все... И потом, нельзя же провести грань — отсюда и досюда... Они русские поэты, пишут по-русски. Да и в конце концов что тут такого! Я занимаюсь поэзией, мне интересно, мне надо знать... Я делаю науку — библиографию!..

— Да, но делаешь ты эту свою науку не благодаря, а вопреки... И вообще все это зряшная работа! Сколько ты убиваешь сил и энергии! Сколько бы ты за это время успел написать...

Впрочем, об этом говорил не только тесть, но и товарищи литераторы часто говорили Тарасенкову о том же.

— Ну что из того, что ты доискался наконец, что Кевлич — это псевдоним Пуришкевича? Что Пуришкевич писал под тремя псевдонимами... Зачем?! Все равно ведь вычеркнут! Пуришкевич — монархист, за царя-батюшку, и большевиков не любил..

— Да, но этот «держиморда», как называл его Ленин, выпускал в перерывах между заседаниями в Думе книги стихов! И этого почти никто не знает. А какая будет находка хотя бы для будущего историка!.. Дать любую цитату из любого стихотворения и уже не надо ничего прибавлять к характеристике этого тупого, безграмотного «государственного деятеля» царской России! И потом, это не рекомендательная библиография, которая пропагандирует книгу. Это описательная библиография — она только фиксирует выход книги. Это же справочник...

— Да ты меня-то не уговаривай! — горячился тесть. — Меня не надо уговаривать. Я все отлично понимаю. Но ведь вычеркнут! А Гиппиус, Мережковский, Георгий Иванов — какая же это будет библиография! А они эмигранты! А Саша Черный? А эмигрантские издания того же Бунина, Цветаевой?! Да ты понимаешь, что половина книг полетит!.. Значит, это будет только избранная библиография поэзии двадцатого века...

— Ну, не сегодня же я собираюсь издавать!

— А когда же?

— «Когда я буду бабушкой — годов через десять чек...» — отшучивался Тарасенков.

— А что изменится тогда?!

Но деспотить им так и не удалось: тесть умер в 1946

году. Тарасенков — в 1956-м. А в 1966-м вышла «Библиография поэзии XX века». И сколько раз уже за это время переиздали и Бунина — и в двух «Избранных» даже предисловие Тарасенкова, успел все-таки. Умер, заканчивая вступительную статью к поэтическому его сборнику... И книги Цветаевой изданы, и Саша Черный, и Мандельштам. А в Ленинской библиотеке в каталоге Кнорринг Ирина.

Зачем меня девочкой глупой  
От страшной родимой земли,  
От голода, тюрем и трупов  
В двадцатом году увезли!..

Все становится историей, и мы сами, не замечая, уходим в историю. Год за годом... бег времени — и все на местах своих — книги и люди. Но любопытно, даже и в наши дни еще редакторы, библиографы, спохватившись вдруг: «Надо просмотреть книгу Тарасенкова «Русские поэты XX века», как бы туда не попали «не те» имена!» Какие «не те» имена?! «Ну, эмигрантская литература, там Кнорринг и другие. Эротические стихи Кузмина, допустим. Монархическая литература — Пуришкевич, например...» — «Но, позвольте, — это же не руководство для классных наставниц, а библиографический справочник!.. А что касается Пуришкевича — то на экранах страны шел фильм «Перед судом истории», где в главной роли Шульгин...» — «Ну, все-таки как бы потом чего не вышло! Надо вычеркнуть...» И это, так сказать, по личной инициативе, доброжелатели, «спасающие» книгу!.. Но что делать, если сила инерции зачастую оказывается сильнее времени... И потом, сказать «нет» легче, за «да» несешь ответственность, а за «нет» — разве что перед лицом истории...

А главный редактор издательства, когда после смерти Тарасенкова ему была представлена рукопись, с сочувствием сказал:

— Но ведь Анатолий Кузьмич умер накануне Двадцатого съезда... Он не дожил...

— Да...

— Но ведь библиография теперь неполная... Вы ведь понимаете, что в ней многих имен не будет хватать. Он ведь не мог знать, что будут реабилитированы, например,

такие пролетарские поэты, как Кириллов, Герасимов? А Николай Зарудин и другие?

— Да. Но они включены в библиографию. Вернее, они их никогда не исключал. Книги их стояли на полках.

— То есть как стояли?!

— Он говорил: библиография — это наука... Он, видно, просто делал свое дело...

— И дома знали?

— Нет. Как-то не отдавали себе отчета...

Узнали, когда позвонили из Гослитиздата и сказали, что собираются издавать книги старых пролетарских поэтов, участников революции — Герасимова, например, члена РСДРП с 1905 года. А текстов нет! Многие стихи не сохранились даже у родственников. Быть может, в библиотеке Тарасенкова... Библиотека помещалась уже на Лаврушинском, в отдельной комнате, специально отведенной под нее, где все стены были от пола до потолка застроены шкафами. И все нужные книги были найдены. Они стояли по алфавиту в ярких ситцевых переплетах...

Тарасенков переплетал сам.

— А где же станок, пресс и все прочее? — обычный вопрос, когда кто-нибудь заходил впервые.

Станок — письменный стол. Пресс — энциклопедия. «Все прочее» — кусок клеенки, как скатерть-самобранку — на письменный стол. На клеенку — деревянная колотушка, докторские ножницы, ланцет, сапожный нож, иголки, бобина с нитками, столярный клей.

— Опять кто-то брал мои иголки! Ну когда же в доме кто-нибудь наконец научится трепать хвостики?!

«Трепать хвостики» — одна из переплетных операций. Их много, этих переплетных операций. Сначала книга расшивается. Потом со страниц счищается клей. Осторожно, ланцетом. Это сложная операция. Это никому не доверяется. Можно вместе с клеем содрать и кусок бумаги. Потом эти странички, сложенные тетрадкой, сшиваются заново. Это тоже никому не доверяется. Можно сшить не в той последовательности, перепутать страницы. Это сам. Сам никогда ничего не спутает, не испортит. Очень быстро, точно работают руки. Разговаривает, читает стихи. Всегда кто-нибудь есть.

— Ничего, если я буду переплетать?..

И к концу вечера по всей комнате, распластав белые форзацы, сохнут книги. Уже сшитые, с промазанными



столярным клеем корешками, с торчащими веревочными хвостиками. На каждой книге четыре хвостика, по два с каждой стороны. Когда шивают страницы, их пришивают к кускам веревки, наверху и внизу книги, от этих веревок и торчат хвостики. Эти-то хвостики и надо «трепать». Саложным ножом, подложив под них фанерку. Надо сделать их совсем тонкими, плоскими. Когда потом их будут наклеивать на крышку переплета, а сверху накрывать форзацем, они не должны быть заметны. «Трепать хвостики» — это тоже не такая уж простая операция. Можно так «растрепать» хвостики, что от них ничего и не останется, и наклеивать будет нечего. А можно и не «дотрепать»... Но это все еще только полуфабрикаты. Книгу еще надо «одеть». Еще надо выбрать одежду.

— Как ты думаешь, холст к Ходасевичу подойдет?

Холст, ситец, дерматин, бумага для форзацев — это все трудно добыть. Это только в последние годы, в пятидесятые, просто: зашел в магазин и сразу купил, разве только в очереди зашумят: долго выбирает! Куда столько? Зачем по полметра, по четвертьметра? Кукольный театр, что ли! Бумагу для форзацев, если хотел, чтобы не белая, научился делать сам. В таз с водой выливал краску, разведенную в бензине. По воде шли радужные разводы, и тогда быстро на поверхность воды клался лист бумаги. Бумага становилась «мраморная». Но опять задача — нужны два одинаковых форзаца: один в начале книги, другой в конце. А два совершенно одинаковых не получалось. Даже если вдвоем, сразу опускать один лист за другим — разводы разные! Ну, а ситец, холст — это знакомые приносили дань лоскутами.

— Как ты могла купить себе на платье в обрез? Ну хотя бы на один переплет. Ты скоро сносишь эту кофту? Только, пожалуйста, не выгорай ее...

Как-то ему подарили новую цыганскую юбку из синего французского ситца в цветах. По тем временам это был поистине царский подарок.

— Ну что ты смотришь так на юбку! Это бессовестно с твоей стороны. У меня Гумилев раздетый.

И тут же всю раскрыл докторскими ножницами. И даже на те книги, которые еще не нашел, которые еще только записаны в дезидерате.

Но «одеть» книгу — это еще тоже не конец, это еще не значит, что книгу можно поставить на полку. Переплет

безымянный, на переплете еще нет ни названия книги, ни автора. Теперь из переплетного цеха книга поступает в оформительский цех... Оформительский цех — это Борис Германович Закс.

— Как, ты уже опять приготовил?! Да я у тебя в субботу был до двух часов ночи! Хорошо. Приду. Только учти — пять книг и не больше!

— Десять.

— Я сказал — пять книг и три стихотворения. Только три!

— Десять книг и пять стихотворений. По рукам?..

— Нет. Я сказал: пять и три! И никаких тебе поблажек не будет!

— Ну хорошо, пусть по-твоему...

Это по телефону. А вечером, входя в комнату и видя приготовленные груды книг на столе:

— Ты с ума сошел! И это я все должен сделать?..

— Да нет же, это тебе на выбор — любые! Мы будем делать надписи в четыре руки.

— В двенадцать я уйду, ты как хочешь! И корешки надписывать не буду. Ну зачем ты переплел эту книгу в ситец, да еще в такой цветастый. Надо было бы в полосу или лучше холст... Оставь книги, не трогай! Опять только намажешь... Давай сюда. Зачем ты писал моим пером, после тебя нельзя работать, ты слишком намажешь...

И тушью тонкие рисунки на холсте, на дерматине. Нарвские ворота и перед ними надолбы, проволочные заграждения. Сабля, онегинский пистолет, брошенные на землю. Корабли на рейде. Оловянные солдатики под ружьем у палатки посреди пустыни на обложке переводов Киплинга... Теперь, когда берешь эти книги с полок, — переплеты и рисунки на них уже чуть стерлись от долгого стояния, от слишком тесного стояния в соседстве друг с другом... И по первому взгляду даже трудно определить, что этот рисунок сделан от руки или отпечатан типографским способом... Переплеты твердые. Переплеты мягкие. Переплеты с накладными корешками, с врезанными углами. Переплеты-папки, куда просто вкладывалась книга... Тысяча переплетов! Тарасенков успевал переплетать не только для своей библиотеки: во многих московских квартирах, да и в Ленинграде тоже стоят книги, переплетенные им. «Как у вас стихи в таком виде?! Я пе-

реплету вам...» Еще в детдоме переплетал и вышел из детдома с профессиональной переплетчицей.

К переплетному ремеслу его относились всяко. Исаковский даже в шутку стихи написал:

В свои шкафы вы взять готовы всякого,  
Но отношение к нам не одинаково:  
Одних вы так и этак величаете,  
Других же к переплету назначаете;  
Вы лично сами тех переплетаете, 1  
Кого совсем отжившими считаете.  
И потому — хоть ткань у вас добротная —  
Меня пугает ваша переплетная...

Одна московская библиоманка, собирательница книг XVIII—XIX веков, кричала как-то на Тарасенкова:

— Вы варвар! Вы преступник! Как можно переплетать книгу! Книга должна оставаться в своем первоначальном состоянии, в каком она вышла из типографии! Даже если книга не разрезана, книгу нельзя разрезать!

А в Союзе писателей однажды с трибуны:

— Этот эстет Тарасенков с любовью переплетает — кого бы вы думали? — Ахматову, Мандельштама...

И когда тот с трибуны проходит мимо, чтобы сесть на свое место, Тарасенков ему:

— Тебя я, между прочим, тоже переплетаю...

Да, собирание книг — не профессия. Тарасенков был критик. Литературовед. Работал в редакциях — в журнале «Знамя», в издательстве «Советский писатель», в «Новом мире» — заместителем главного редактора Твардовского. Много писал книг. Главным образом — о поэзии, о поэтах. Были удачи. Были неудачи. Заслуженные победы. Обидные поражения. Были свои «ошибки». Были «ошибки» и своего времени. И быть может, главной его ошибкой было то, что ему приходилось признавать эти свои «ошибки»... Но касаться литературной его деятельности — значит касаться всего течения литературного процесса, всей общественно-политической жизни страны того периода. А это не входит в задачи данного очерка. Это всего только рассказ о том, как Тарасенков собирал книги и для чего он собирал книги...

Когда он умер, позвонил Фадеев, из Барвихи, кажется. Было плохо слышно. В трубке трещало. Фадеев говорил, что он потрясен смертью Тарасенкова. Он знал, что тот болен, но не думал, что так быстро все обернется.

Он вспоминал Тарасенкова мальчишкой, когда они оба были еще в МАППе, когда позже создавали Союз писателей... Говорил много добрых слов. И его суховатый, чуть захлебывающийся голос то бился в самое ухо, то уходил и совсем терялся.

— Да, мы оба были с Толей дети одного века... — кричал он с того конца провода, — продукт эпохи... — И оказалось, что сквозь треск и гул проводов донесся вдруг короткий и столь характерный фадеевский смешок.

Собрание книг, библиография поэзии XX века, которой занимался Тарасенков, были не главным его занятием в жизни. Но в этой своей работе он был всегда самым собой, делал, что считал нужным, как считал нужным, последовательно, до конца, несмотря ни на что... И теперь, спустя столько лет после его смерти, когда наконец вышел его библиографический труд, это не главное вдруг оказалось главным! Работа оказалась не сброшенной с круга времени. Но умер он, не сознавая, не понимая этого, тоскуя о той «главной книге», которую не написал, которую не знал еще...

«Главная книга должна, мне кажется, начаться с самого детства, с истоков...» — писала Ольга Берггольц. Наверное, так... Наверное, и его «главная книга» началась еще с детства, с Сухаревского рынка, когда мальчишкой он бегал в школу на Садово-Спаскую, мимо книжных развалов, мимо книг, наваленных на брезенте, у палисадников, прямо на тротуаре. Он часами просиживал на корточках перед этими книжными развалами и перебирал книги, пока букинисты не прогоняли его.

«Однажды, — вспоминал Тарасенков, — возвращаясь вечером из школы по пустой базарной площади, я увидел, как дворники сметали в кучи мусора деньги. Вся площадь была засыпана кредитками. Я набил себе полные карманы миллионами, тогда ходили миллионы, дворники смеялись надо мной, говорили, что на эти миллионы уже ничего нельзя купить. (Произшла денежная реформа.) А я никак не мог понять, почему деньги метут метлами, а у нас дома денег не хватает даже на хлеб...»

Но, быть может, и а ч а л о относится к еще более раннему времени... В Перхушкове есть отличная березовая аллея. Во время очередной реконструкции района кому-то из руководителей, не то районного, не то областного масштаба, пришла в голову идея спилить деревья. И спи-

лили бы, а что... Но жители Перхушкова написали Горькому, и Горький заступился за аллею... Аллея эта тянется не один километр. Могучие, старые березы выстроились в ряд и сцепились кронами над дорогой. В зной в аллее этой всегда прохлада и тень. И когда врывается на машине с поля, из душного полдня, и несешься по мерцающим, дрожащим солнечным бликам, а в глазах рябит от полосатости мелькающих мимо берез, кажется, что ты нырнул вместе с машиной в какое-то призрачное подводное царство, и солнце пробивается не сквозь ветви, сквозь зеленую толщу воды...

В этой призрачной аллее в 1921 году Тарасенков собирал отнюдь не призрачные подберезовики и белые и заставлял собирать сестер. Мать была в тифу, няня Маша лежала в больнице. И он должен был кормить сестренку. Он научился жарить грибы без масла, делать грибную похлебку, ничем не забеливая ее. Но самым мучительным было топить русскую печку. Он был маленький, тощий, ему приходилось влезать в печь и укладывать в печи дрова. Он всегда ходил в саже, как трубочист, а отмыть сажу было трудно, не было воды. Почему-то в колодцах иссякла вода, и населению выдавали по полведра на день... Однажды он шел по этой аллее и нес домой со станции посылку. И на посылке было написано: «Анатолию Кузьмичу Тарасенкову». Анатолию Кузьмичу Тарасенкову было одиннадцать лет... В посылке были книги. Это его дядька, командир Красной Армии, который сражался где-то вместе с Ворошиловым, прислал ему. Мать велела сразу с почты идти домой, но он не утерпел: отбил камнем крышку фанерного ящика. Вначале просто пересмотрел все книги и сложил их обратно. Но у следующего дерева снова присел и снова открыл свой «ларец». И теперь уже не мог удержаться и стал читать. И читал до тех пор, пока было видно, пока мог читать. Домой пришел, когда было уже совсем темно, и ему влетело...

Последнее лето своей жизни, уже страдая неизлечимой болезнью сердца, Тарасенков проводил на Никодимовой горе, куда путь вел через эту березовую аллею. И каждый раз, проезжая по ней, он вспоминал того тощего и всегда голодного мальчишку, который тащился с почты с книгами. И, забыв, что уже все рассказал, всем рассказал, рассказывал заново...

Потом после Перхушкова была Москва. Книжные

развалы на Сухаревке, книжные развалы, ларьки у Ильинских ворот, у Китайгородской стены... Здесь всегда толпились писатели, актеры, художники, студенты. Как-то Тарасенков, уже будучи студентом университета, стоял у такого импровизированного ларька, где под куском фанеры, которая служила крышей, на выступе стены были разложены книги. Денег у него, конечно, не было. И он просто листал книги, которые ему хотелось купить.

— Книгами, молодой человек, интересуетесь? Что ж, похвально, — услышал он позади себя голос. — Разрешите мне преподнести вам свою книгу.

Человек был большой, грузный. В бобровой шапке. Шуба на меху нараспашку. Тарасенков решил про себя: «Должно быть, из «бывших» или «нэпман». Оказалось — Гиляровский... Это была первая книга с автографом автора...

Горит камин... Его растапливают не часто. Только когда уж очень лютая стужа. Или когда хочется порадовать гостя огнем. Камин в Москве — редкость. Но камин — хлопотно. Надо бежать по улице, во двор, в ту половину дома, от которой отделена квартира, открывать трубу, — заслонка осталась там, в коридоре. Открывать трубу — обязанность Тарасенкова. Он ушел. Слышно, как за стеной он расставляет лестницу. Слышны голоса. Сейчас загремит чугунами блинами и крикнет в открытую трубу, вниз, в камин, или засвистит. Тогда можно будет плеснуть из пузырька керосином на поленья и поджечь бумагу. Но сигнала не подает. Голоса смолкли. Тарасенкова нет. Приходится снаряжать «спасательную» экспедицию. Тарасенков обнаружен в чулане, на чердачной лестнице. Там застекленная галерея, как в пьесах Островского. Чуланы. Чуланчики. Деревянные лари, в которых когда-то хранилась мука. Тарасенков залез в такой ларь и роется в каком-то барахле. Убогонькая Саша светит ему свечкой.

— Понимаешь, забыл взять газету. Попросил у тети Саши, чтобы не вывозиться в саже, а она мне дала стихи!.. Страницы из книги! И как это мне раньше в голову не пришло, что тут могут быть книги!

— Ну какие тут книги кроме «Будильника» и «Нивы»!

— Да нет же, это когда владелец дома Иван Сергеевич торговал на Смоленском рынке, после революции, когда его раскулачили как гробовщика, он покупал книги

на вес, для обертки... Ты погляди, что я выкопал! Даже в дезидерате не значитя!

«В дезидерате не значитя...» — это особенно ценно! В дезидерате не значитя — значит и в Книжной летописи не значитя. И ни в каких каталогах не значитя. Значит, проскочила мимо библиографов, не заметили. Затеялась... Значит, это его, Тарасенкова, открытие.

— Да, дезидерата, картотека — это моя лаборатория... Без них мне бы не собрать такую библиотеку! А без библиотеки не было бы и библиографии. Если бы завтра вышло постановление срочно составить библиографию поэзии двадцатого века, ничего бы не вышло. Здесь нужно только терпение и время... И пришлось бы создавать институт. Да, целый институт! С замами и с замами, и, конечно, были бы кандидатские и докторские...

Дезидерата — картотека... Дезидерат много. Для себя, для «личных представителей», для друзей, которые едут в командировки в города, где нет «личных представителей». Дезидераты вечно перебелиются, переписываются. Дезидераты стареют... Сколько переписал, перебелил этих дезидерат! Первая — в школьной тетрадке: когда ему было шестнадцать лет. 1925 год. Последняя — тридцать лет спустя. 1955 год, в мае...

— Две тысячи семьсот названий... Еще две тысячи семьсот книг надо разыскать!..

— Это те, которые в дезидерате, а те, которых нет в ней?

— Ну, теперь это уже единицы! Теперь совсем редко... А были годы, когда просто брало отчаяние: одну книгу на полку — десять в дезидерату. И чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше книг я приобретал, тем толще становилась дезидерата! Казалось, она никогда не похудеет... Казалось, никогда не собрать... А теперь собрал почти все... почти... Ну хорошо, округлим — для ровного счета еще осталось три тысячи. Три тысячи книг. И тогда все! Сколько на это надо лет? Если бы еще прожить лет десять!.. Ну не десять, ну хотя бы до пятидесяти дожить, хотя бы еще четыре года. Тогда бы, может, успел... Успею или не успею...

Из последней дезидераты успел вычеркнуть — 186 книг. 186 — поставил на полку. 186 синих линий на карточках, и карточка обратно опущена в ящик с карто-

текой... Картотека всегда в единственном экземпляре. Все, что есть, все, чего нет, все на карточках.

— Не рассыпьте! Не передвигайте ящики!.. Только, пожалуйста, когда будет уборка, не трогайте картотеку! И 26 июня 1941 года, уходя на фронт:

— Библиотеку, конечно, вряд ли удастся сохранить. Но, если можешь, сохрани картотеку... Восстановить ее уже будет невозможно. Не хватит времени и сил...

В июле, когда начались бомбежки, картотеку всю ссыпали в наволочку, завязали и к окну на подоконник. Все носильные вещи, все ценное увязали в узлы и узлы у окон, как в деревне, когда в конце улицы пожар. Как и во всех домах на Конюшках. Конюшки деревянные — горючие...

«Не мучь себя библиотекой! Мне все равно. Клянусь тебе, все равно!.. Лишь бы уцелели вы...» — письмо Тарасенкова с фронта. Но если Тарасенкову в те первые месяцы войны было все равно, то тут, в Москве, как раз наоборот — с п а с т и! Во что бы то ни стало спасти!..

Очень страшно горела Книжная палата, одно из красивейших зданий Москвы начала XIX века. Ночью. Уже сорвана крыша. Горят, готовые рухнуть, стропила. Пламя мечется, кидается на деревья, стелется по земле... Но стеклянная галерея еще не горит, только, охваченная вся огненным светом изнутри откуда-то, явлена взору в целостности своей, в мельчайшей подробности... Стеллажи — книга к книге, и каждый корешок виден отдельно. Лесенка у стеллажа, и каждая ступенька отчетливо в глаза. Ящики с картотекой... Все на месте, не тронуты огнем, нигде ни одного языка пламени, все в сохранности своей, недвижимости, как отпечатано... Огонь не вовне еще, но внутри уже. Внутри стен, стеллажей, внутри книг... И все лишено уже вещественности своей, земной плоти — одна оболочка! Никто уже, ничто уже не может спасти. Счет идет на секунды. Еще секунда, еще... Взрыв огня! И все рухнуло в пламени, распалось... И вдруг вопль: «Книги!» Из огня, из туго набитых стеллажей в ночное небо выстреливают книги!.. Не горящие — огневые! И там, под самыми звездами, раскрываются... И ветер шевелит огневыми страницами, и на страницах видны даже черные прочерки строк... Мгновенно... горстка искр осыпается вниз... А в небо еще книги, еще... И потом, фейерверком, огневые листки — картотека!..

И тогда, в тот же день, решили обратиться в Ленинскую библиотеку. Говорили, что ее эвакуируют в надежное место, где особые, бетонированные хранилища — ни фугаска не возьмет, ни огонь. В вестибюле — ящики, книги в ящиках, штабеля ящиков. Ящики куда-то уносят, ящики откуда-то вносят, грузят на тележки. Директор, в защитном кителе, в сапогах, орет на ходу:

— Да вы что, все с ума посходили?! Что у меня, богадельня! Так я и буду заниматься частными библиотеками! Академики звонят, писатели! Ну и что? Умели кататься, умеете и саночки возить! Сами и спасайте... С меня и государственного добра хватит!

— Но... библиотека Тарасенкова! А сам он на фронте...

— Что? Тарасенков?! Поэзия двадцатого века! С этого бы и начинали... Три грузовика хватит? Завтра в семь утра... Чтобы успеть до бомбежки. Упаковщиков нет. Все на фронте. Сами будете паковать...

— Хорошо... Но надо сначала соглашение, что ли, подписать... Как-то оформить. Чтобы, когда Тарасенков вернется с фронта... Ну, словом, после победы, после войны, чтобы обратно ему вернули библиотеку. Он будет пополнять ее... Ну, а потом после своей смерти завещает, чтобы ее передали целиком Ленинской библиотеке уже навечно...

— Вы думаете, ваш Тарасенков уцелеет?! Вы что, до сих пор не поняли, что такое война? И его не будет, и вас всех не будет...

— Ну, тогда пусть и библиотеки не будет...

— То есть как это библиотеки не будет?! Такая библиотека должна быть достоянием государства, народа! Вы рассуждаете не по-большевистски!

— А вы не по-людски!

За пол-литра в домоуправлении — управдом уходил на фронт — добыли три листа кровельного железа. В подполье в землю зарыли оцинкованное корыто и таз и самые ценные, по своему разумению, конечно, книги опустили в них и сверху накрыли листами железа... Картотеку в наволочке увезли с собой в эвакуацию в Ташкент, 13 октября. А дезидерата так всю войну и пробыла с Тарасенковым! Когда уходил, сунул в портфель полотенце, бритву, блокноты, дезидерату в задний карман брюк.

— На фронт дезидерату?! Зачем?!

— Ну, если бы мы могли ответить на все «зачем» и «почему». Не знаю. Привычка. Пусть будет...

Очень торопился — боялся не успеть, как в финскую, — товарищи ушли на фронт, а его заставили работать в редакции — некому было делать журнал... На пятый день войны, 26 июня, уехал в Ленинград, оттуда в Таллин, где была база Балтийского флота. Еще до войны, в сороковом, в Таллине прошел подготовку военного журналиста-моряка. Был назначен редактором газеты противовоздушной обороны Таллина. Был и автор, и корректор, и выпускающий, и редактор. И поэт, и очеркист, и «передовик», и куплетист, и репортер... 26 августа выпустил последний номер многотиражки «На боевой вахте» и вместе с типографскими рабочими занял оборонительный рубеж у памятника «Русалка». Останавливали бегущих, формировали с товарищами отряды... Немцы уже прорвались в город. Потом по приказу командования отступили к порту. И на военном транспорте «Верония» ночью 26 августа оставили Таллин...

Корабли шли по минированному Финскому заливу. Береговая полоса находилась в руках немцев и финнов. Бесперывно налетали вражеские самолеты. Корабли подрывались на минах, их топили с воздуха бомбами. Тонущих людей расстреливали из пулеметов на бреющем полете... Это была одна из самых трагичных страниц в истории русского флота...

Транспорт «Верония» был потоплен. Тарасенков плавал несколько часов... Когда он уже совсем выбился из сил, его подобрал какой-то катер и доставил на борт «Ленинградсовета». В машинном отделении вместе с другими спасенными сушился. Сушил вырезки, письма, дезидерату, с которой плавал. «Муравьиное упорство — все спасти, отстоять...» Корабль не двигался, всю ночь простоял посреди минного поля. И всю ночь в море глоса: «Помо-гите... Спаси-те...» Сотни, тысячи людей с погибших кораблей. Но спасти их нет возможности... Утром опять появились немецкие самолеты, один за другим. Сбрасывали бомбы на уцелевшие корабли, которые медленно двигались по заливу, прокладывая себе путь посреди мин... Но кому-то и тут суждено было уцелеть...

«Бомбы падают совсем рядом. Командир корабля гениально маневрирует — то дает полный вперед, то назад, то стоп, то замедляет ход, то убыстряет его, то кладет

рули на левый борт, то на правый. Шар, показывающий скорость, летает вверх и вниз. Сплошной кордебалет корабля!..»

Записал Тарасенков в своем дневнике:

«...Наконец, Гогланд. Кажется, что после него будет легче. Но это ошибка. Наших ястребков все нет и нет. В них же — одно спасение. Отбиваемся, как можем. Одно из орудий корабля выходит из строя. Пулеметные ленты кончаются. Набиваем их патронами из подсумков краснофлотцев... А командир корабля, старший лейтенант Николай Николаевич Амелько, все маневрирует и маневрирует. Он делает это гениально. Ничего нет жутче пикирующего на корабль бомбардировщика. Чувствуешь, что под тобой хрупкая палуба, под ней вода, вокруг море, море, берег далеко, по курсу корабля набросаны мины. Прыгать второй раз — что, если придется? Сил нет. Предприятие будет вполне безнадежное.

...Перед вечером появляются наши ястребки. Сразу необычайный взлет энергии, прилив сил. Это у всех. Даже раненные в каютах оживают. Ястребкам на палубе аплодируют. «Мессершмитты» и «юнкеры» удирают. Но все это, увы, ненадолго. Ястребки уходят — и немцы появляются снова. Это очень тяжело. Снова пикировка за пикировкой, снова рвутся рядом бомбы, на палубе несколько осколков. Одна из кают раздроблена пулеметной очередью...

Так до самого вечера, до темноты... Вот и тьма. Хорошо! Скоро Шепелевский маяк, и мы почти дома. Но на тральщиках и на «Ленинградсовете» вышли из строя все приборы от бомбовых сотрясений, от собственной бесконечной стрельбы. Испорчен гирокомпас и прочее. Все это я узнаю, стоя во тьме на палубе. Командир корабля ведет переговоры со шлюпками и катерами с тральщиков. И хотя угрожает опасность подорваться на своих минах, он решает идти дальше. Идем тихо-тихо, почти ощупью. Впереди тральщик со змейковым тралом.

От нашего каравана почти уже никого не осталось — все погибли. Идем почти одни...»

Потом в блокадную зиму при свете коптилки старательно перебелил дезидерату. Расшифровывал названия книг, имена авторов, смытые морской водой. Восстанавливал страницы в лиловых подтеках, съездившиеся, пожелтевшие от горячего воздуха в машинном отделении

«Ленинградсовета»... Зачем?! «Муравьиное упорство все спасти, отстоять...» И тогда письма из Ленинграда в Ташкент. И почти в каждом письме настойчиво повторяется: «Прочти «Нумансию» Сервантеса, это очень правдивое и яркое произведение», «Достань пьесу «Нумансия» — это написано почти про нас...», «Читала ли ты «Нумансию»?..» Но в Ташкенте нет «Нумансии» ни в библиотеках, ни в читальнях. И никто не читал, не помнит, не может рассказать, что там, в этой пьесе «Нумансия»... И наконец в театре в реперткоме — «Нумансия»! Город в осаде... В городе нет воды. В городе нечего есть... Трупы на улицах... И впервые тогда, зимой 1941—1942 года, в неприукрашенной своей наготе предстала блокада в воображении ташкентца... А оттуда, из блокады, вдруг письмо: «Как ты могла не купить мне книги Уткина и Городецкого, которые вышли у вас там? Мне Борис Шиперович писал...» И в ответ из Ташкента — одержимый, маньяк!.. Ну кому это теперь нужно все! Какие-то книги Уткина, Городецкого! Когда немцы дошли до Волги... Когда сам в блокаде!.. И ответ из Ленинграда спустя несколько месяцев — к весне на почтамте выжившие и чуть ожившие ленинградцы разобрали наконец тюки с письмами: «Ну что ты так взъелась на меня за книги Уткина и Городецкого?! Ведь после войны их не достать!..» И на конверте штамп военного госпиталя, куда он попал как дистрофик...

А в декабре 1942 года на Ладоге был такой эпизод: Тарасенкова на несколько дней командировали в Москву. Грузовик, который возил грузы в Кабону и попал накануне под бомбежку, не смог доставить его в Волхов, откуда ходили поезда в Вологду, хотя путь этот и непрерывно бомбили. Даже до шлагбаума, где можно было поймать попутку, грузовик не довез. Пришлось метров пятьсот идти открытым полем сквозь буран. Было темно. Ничего не видно. Мело. И еще в довершение оторвалась ручка от чемодана. У него было два чемодана. Один с консервами, выданными по аттестату. Свои и чужие, больше чужих. Банки сгущенки, тушенка, куски мыла, и к ним нитками, обрывками бинтов привязаны письма, сложенные треугольниками, — «с фронтовым приветом». В другом чемодане книги. От чемодана с книгами и оторвалась ручка. «С мясом» вырвалась. Ничего нельзя сделать, только тащить чемодан, обхватив его обеими руками. Но

тогда бросить чемодан с консервами... А Тарасенков по опыту Ленинграда хорошо понимал, что значит в пустой, нетопленной московской квартире вручить кому-то это «с фронтовым приветом...». Ну, а что касается книг... Он хватает чемодан с книгами и делает десять шагов вперед. Ровно десять. Опускает чемодан и назад. Десять шагов... Поднимает чемодан с консервами. Десять шагов вперед. Натякается в темноте на чемодан с книгами. Теперь от чемодана с книгами десять шагов. Ставит чемодан с консервами и назад десять шагов за книгами... Если взять чуть левой или чуть правой — проскочит, и не разыщешь тогда уж никаких чемоданов в этой крошечной тьме и метели... А в Волхове у железнодорожных путей в гряде тулупов двумя ремнями — один свой, другой дал кто-то из бойцов, которые везли тулупы на передовую, — стянул чемодан. И конечно, показывал книги. Метель улеглась. Книжки кляли прямо на снег, чтобы лучше разглядеть.

— «Гангутцы», — говорит Тарасенков и вынимает из чемодана книгу. На ней силуэты матросов, бегущих в штыковую атаку. — Книг этих, может быть, и осталось в мире только два-три экземпляра... Кто-то захватил с собой в полевой сумке или в кармане, когда уходил с Ханко... Удивительно, что этот героический гарнизон не только держался столько месяцев на камнях, на клочке земли, когда все вокруг уже было занято немцами и финнами на тысячи километров... но даже и книги издавал... Обратите внимание на иллюстрации. Это рисовал молодой художник Боря Пророков. Не знаю, уцелел он или нет... Говорили, корабль, на котором он уходил с Ханко, был потоплен... Мы с ним вместе играли в теннис в последнее мирное воскресенье в Останкине...

Теперь на снег ложатся пасьянсом крохотные книжечки, величиной с игральные карты, изданные на газетной бумаге. «Отстоим Ленинград», «Мы из Кронштадта», «Сокотлы Балтики»... Тринадцать книжечек. Тарасенков объясняет, что изданы они были в самые суровые, самые трудные месяцы блокады в Ленинграде... Он так хотел, чтобы книжки эти попали в его библиотеку на Конюшки, и так не надеялся, что у него в Ленинграде они уцелеют. Он посылал их с оказией и бандеролью в Москву на Конюшки, в пустую, заколоченную квартиру, и в Ташкент. До Ташкента дошло только четыре, до Москвы не дошли... — С товарищем Демьяном Бедным мы знакомы, — го-

ворит боец, беря книгу из чемодана. — Товарища Демьяна Бедного мы похоронили, а вот товарища Бунина не знаю, не читал.

— О, я вам завидую, что вы будете читать его первый раз! Это замечательный русский писатель... После войны мы издадим его массовым тиражом!..

Эта вечная тарасенковская присказка — «после войны!» Он был уверен, что сумеет сразу издать все, о чем мечтал, что считал нужным издать, лишь стоит только отгреть пушкой...

— Товарищ капитан, давайте-ка приберем ваши книжечки от греха подальше... Летит...

Прилетел. Бомбит Волхов... Волхов и без того весь разбомблен. Жители эвакуированы. Только железнодорожники, воинские части и работники Волховской ГЭС, но они почти все в землянках... Посреди разбомбленного города, посреди развалин целехонькая, нетронутая Волховская ГЭС работает в полную мощь. Немцы все еще не оставляют надежды занять город — и Дом специалистов, многоэтажное здание, не бомбят, оставили для себя. Высятся нетронутые, только стекла выбиты взрывной волной... В этом доме и пришлось заночевать. В нижнем этаже дверь в квартиру была сорвана. Тарасенков осветил фонариком.

— Что ты делаешь, свет!

— Окна забиты фанерой...

Пустая комната. Стекла под ногами.

— Книжки!

Это, конечно, вопль Тарасенкова.

И он уже у книжного стеллажа. Освещает фонариком. Сдувает с книг пыль. Берет в руки. Мирная его привычка — обязательно дотронуться до книги, подержать в руках, полистать... Это так раздражало многих знакомых и друзей. «Поставь книгу на место. Не трогай книги. Ну, неужели ты не можешь посидеть спокойно минуту!..» И он обескураживающе: «Не могу...» И теперь, в этой чужой квартире, посреди разбитого Волхова.

— О господи! Тебя ничего не переделает, даже война!

— А может быть, меня и не надо переделывать... Смотрите, Тютчев... малая библиотечка...

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!

